

Андрей
ГЕЛАСИМОВ

Новый роман о России!

Холод

На что
ты пойдешь,
чтобы выжить
в минус 50
без тепла?

18+



Андрей Валерьевич Геласимов

Холод

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9002875

Геласимов, Андрей Валерьевич. Холод : роман в трех действиях с антрактами: Эксмо; Москва; 2015

ISBN 978-5-699-78236-9

Аннотация

Когда всемирно известный скандальный режиссер Филиппов решает вернуться из Европы на родину, в далекий северный город, он и не подозревает, что на уютном «Боинге» летит прямиком в катастрофу: в городе начались веерные отключения электричества и отопления. Люди гибнут от страшного холода, а те, кому удастся выжить, делают это любой ценой.

Изнеженному, потерявшему смысл жизни Филе приходится в срочном порядке пересмотреть свои взгляды на жизнь и совершить подвиг, на который ни он, ни кто-либо вокруг уже и не рассчитывал...

Содержание

Действие первое	5
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Андрей Геласимов

Холод

Надежде посвящается

«Who'd ever thought that Hell would be so cold?»

Tom Waits. «Lucinda».

«Откуда было знать, что Ад – это крошечный холод?»

Том Уэйтс. «Люсинда».

Автор признателен Гору Нахапетяну за то, что на благотворительном аукционе 7 февраля 2010 года тот приобрел право, согласно которому один из персонажей этой книги будет назван именем его жены Лилии Ли-ми-ян. Средства, вырученные от продажи лота, перечислены в благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».

© Геласимов А., текст, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Действие первое

Заморозки

В обморок лучше всего падать в хвостовом туалете «Боинга-757».

Неплохо, конечно, завалиться с унылым лицом где-нибудь на пляже или на диване среди мягких подушек, но если ни песка, ни дивана в нужный момент не подвернулось, то лучше туалета в хвосте «Боинга» места уже не найдешь.

Каморка настолько тесная, что никто ничем не рискует. Слушаем обычные в такие моменты звонки у себя в голове, привычно им удивляемся, после чего мягко складываемся и сползаем по стеночке. Если стоим лицом к унитазу, колени упрутся в него, поэтому гигиеничней повернуться к белому другу бочком. Тогда ноги сами собой фиксируют нас, упираясь в панель умывальника, и мы затихаем на полу в позе эмбриона.

Лайнер мчит нас над облаками, в проходе к туалету образуется очередь, стюардессам пора вывозить свою тележку с едой, а мы блаженно отсутствуем. Нас нет ни в салоне самолета, ни в собственном теле, ни в стране грез. Мы нигде, и наша внезапно осиротевшая оболочка со скоростью почти девятьсот километров в час летит спиной к тому промерзшему странному городу, где протекла половина то ли нашей, то ли ее жизни.

В посадочном талоне, который лежит в кармане нашего сильно измятого пиджака, указано имя Eduard Filimonov, однако даже оно почти не связывает нас и опустевшее скрюченное тело. Усталая пожилая девушка за стойкой регистрации рейса ошиблась, набирая фамилию, а тот, кто знал правильный вариант, не сказал ей об этом. Он еще не был уверен в том, что вообще полетит. Да и говорить было больно. Губы почти не слушались.

* * *

— Эй, как вас там! Режиссер! Проснитесь, пожалуйста...

Кто-то сильно тряс Филиппова за плечо.

— Вы меня слышите? Восемь вечера! Просыпайтесь! На самолет опоздаете.

Филиппов оттолкнул чужую мерзкую руку и попытался спрятаться под одеялом. Но одеяла на нем не было. В следующую секунду он понял, что вынырнул из небытия в самое жуткое, самое бесчеловечное похмелье. От обиды на себя Филиппов застонал.

— Только не надо прикидываться, — сказал мерзкий голос, прилагавшийся к мерзкой руке. — Ничего у вас не болит. Утром еще скакали по всей квартире. И не надо меня пинать, пожалуйста... Сами же просили вас разбудить. Я уже такси вызвала. Вам в Домодедово, правильно?

Филиппов хотел приподнять голову, но головы на нем тоже не было. Вернее, она была, но чья-то чужая. Кто-то забыл на нем свою голову — гадкую, липкую, непослушную. Чужая голова не приподнялась. Все остальные органы и части тела немедленно присоединились к этому параду суверенитетов. Желудок требовал отнести его туда, где можно стошнить; лоб умолял, чтобы в него больше не лили раскаленный свинец; язык и гортань мечтали об айсбергах; а руки скромно хотели дрожать и покрываться испариной. Филиппов чувствовал себя как Советский Союз в девяносто первом году. Он распадался на части. Всё это было как будто он умер, только намного хуже.

По поводу смерти Филиппов годам к сорока понял, что, уходя, он просто станет равен себе приходящему, и перестал активно напрягаться на эту тему. До сорока напрягался, но потом отпустило. Ведь не было его, такого замечательного, талантливого и неповторимого до определенной точки во времени, до двух закорючек в календаре. Точно так же не будет

и после другой цифры. Он просто выйдет за скобки, и уравнение будет решено. А решить уравнение – значит найти его корни. В этом смысле он сравнивал себя со старым хитрым китайцем, который рыщет по горам в поисках каких-то волшебных корешков. Нашел корешок – уравнение решено. А вместе с ним и бессмертие. Потому что после смерти Филиппов собирался лишь уравниваться с тем существом, которого не было тут сорок два года тому назад, которое тусило до момента рождения непонятно где и уж наверняка ни о какой смерти не заморачивалось. Он планировал просто поставить знак равенства между собой и этим прикольным, ни на что не заморачивающимся существом. Вся разница для него между тем, что было до скобок, и тем, что будет после них, состояла теперь в десятке-другом остающихся после него фотографий, которые несомненно были зло, потому что никому ведь не приходило в голову рыдать над ними или вставлять их в траурные рамки до твоего рождения – скажем, на том основании, что тебя еще нет в этом мире, и что все вокруг заждались, а ты никак не появляешься на белый свет. Это уже потом они взяли моду. Привыкли, что ты в зоне доступа, и про знак равенства им невдомек. Так что смерти как таковой Филиппов почти не боялся. Похмелье было страшней.

– Вы будете вставать или нет? Что я скажу таксисту?

Поразмыслив о своем уходе, Филиппов смирился с необходимостью жить и поставился собрать все восставшие органы воедино. Даже самая шаткая консолидация возможна лишь при наличии сильного лидера.

– Где я? – выдавил он, преодолевая невыносимый для любого другого индивидуума приступ тошноты.

– В прихожей, – злорадно ответил мерзкий голос.

Филиппов разлепил то, что у него осталось вместо глаз, и обвел этим то, что удалось обвести. В поле зрения попало совсем немного – фрагмент стены, обклеенной старыми фотографиями; белокурая прядь, очевидно принадлежавшая мерзкому голосу; спинка кожаного дивана, на котором он, собственно, и проснулся. Точнее, пришел в себя. Диван действительно стоял в огромной прихожей. Филиппов сумел понять это со второй попытки. Прямо напротив темнела массивная входная дверь.

– Может, хватит щуриться? Я сама, что ли, таксисту буду платить?

Филиппов призвал граждан своего внутреннего отечества к мужеству и уцепился рукой за спинку дивана. После двух-трех колебательных движений, в результате которых желудок едва не заявил о своем добровольном выходе из состава федерации, Филиппову удалось найти точку консенсуса. Он замер в более-менее вертикальном положении, сглотнул сухую слюну, оглядел свой безнадежно измятый костюм и перевел взгляд на то, что говорило мерзким голосом.

– Ты кто?

– Ну, спасибо.

– Не могла, что ли, пиджак снять?.. Он, между прочим, от Burberry.

– Вы сами не дали. Сказали, что вам будет холодно.

– Могла бы... пледик какой-нибудь принести... А где все?

– Кто все?

– Ну эти... Кто тут живет...

Ночные люди вспоминались расплывчатым безликим пятном. Никого из них Филиппов прежде не знал. Даже то, каким образом он очутился на этой вечеринке, ускользало от него, едва брезжило в опухшей, воспаленной, сильно заплывшей памяти. В голове у него мелькали обрывки какой-то невероятно гадкой эмтивишной мелодии, от которой очень хотелось избавиться, но мотивчик не отпускал. Человеческие пятна дружно крутились под эту тошнотворно бодрящую музыку, и его собственная тошнота незаметно совпала с общим ритмом.

- Где туалет? – успел спросить он.
- По коридору налево, вторая дверь.

* * *

Следом за слухом и зрением к нему наконец вернулись и запахи. Обоняние чуть запоздало, но быстро наверстало свое. Филиппов, не ожидая новых подвохов, вяло плескал воду из-под крана в свое пластиковое, совершенно онемевшее лицо, как вдруг его настиг удушливый запах паленой шерсти, и он снова ринулся к унитазу. После приступа жутких конвульсий, кашля и слез ему удалось выдавить на сверкающий фаянс жалкую каплю желчи.

– Надо было съесть утром хоть что-нибудь, – сказал ему внутренний голос.

– Да пошел ты, – ответил голосу Филиппов, и ответ его прозвучал весомо и гулко, усиленный чашей унитаза.

Сам себя в этот момент он вдруг ощутил маленькой Алисой, которая заглядывает в кроличью нору, прислушиваясь к звукам собственного голоса и удивляясь бесконечности пространства, скрывающегося за черной дырой. Одинокая капля желчи нерешительно скользнула в бездонные глубины канализации, а Филиппов все никак не мог подняться с колен, как будто скользнул туда следом за нею. Правда, вместо сумасшедшего шляпника, ухмыляющегося кота и в хлам обкурившейся гусеницы ему неожиданно явился демон пустоты. Он ржал над ним, требовал наполнения, новых вечеринок, новых людей, односолодового вискаря, дорогой жратвы и эмтивишных нон-стоп мелодий.

– Полжизни бухаешь, – глумился демон над Филипповым. – А кто тебе это время вернет? Думаешь потом как НДС на таможне его получить? Явился в аэропорт вылета, предъявил чеки, показал купленное шмотье – и распишись в получении? Нет, чувак, не прокатит. Половину второй половины жизни ты спишь...

– Да пошел ты, – повторил Филиппов, обрывая ладонью нитку горькой слюны, которая тягуче свисала у него из угла рта и никак не хотела кончаться. – Достал...

– Сам достал, – заржал демон, со свистом скрываясь в таких таинственных недрах, какие Льюису Кэрроллу и не снились.

Откуда-то снова вдруг нанесло запахом паленой шерсти. Филиппов содрогнулся, не в силах выдавить из себя еще хоть что-нибудь, и боль, порожденная этим тщетным усилием, осветила его мозг подобно сигнальной ракете. Стали видны самые дальние, самые темные закоулки, а запах швырнул его в далекое прошлое, когда он с родителями приезжал к бабушке на праздник убийства свиньи.

Поросят всегда брали по двое. Называли их Мишка и Зинка, отчего Филиппов подспудно всю жизнь потом сторонился людей с этими именами. Целый год их выкармливали, а резали осенью на 7 ноября. Никакой исторической метафоры, конечно, тут не было – просто подгадывали к празднику. К тому же свинину в таких количествах можно было держать в погребе только по холодам. Маленький Филиппов прятался в бане или убегал за ворота, чтобы не слышать отчаянный визг и не думать о том, что там делают свинкам, однако запах паленой щетины, после того как забитые туши обжигали паяльной лампой, пропитывал все вокруг. Его источала даже мамина праздничная блузка, когда он прижимался к ней во время застолья, и все вокруг уже перекрикивали друг друга, думая, что поют.

– Эй! – забарабанила в дверь озабоченная темой такси девушка. – Вы там не уснули?

Филиппов поморщился, сплюнул в унитаз и, пытаясь не расплескать головную боль, медленно поднялся с колен.

– Все в порядке, – подал он голос. – Я выхожу.

Задержавшись у зеркала, он обнаружил наконец источник зловония. Его собственная борода и усы справа были заметно оплавлены, а кончики щетины покрыты неожиданно

красивой россыпью крохотных и как будто стеклянных шариков. Это место у него на лице напоминало теперь какое-то морское животное с плотной массой коротких полупрозрачных щупалец или свод глубокой пещеры, покрытый хрупкими и очень мелкими сталактитами. На губах продолговатыми слизняками светились белесые пятна ожогов.

Кто подпалил ему бороду и зачем – Филиппов не помнил.

* * *

– Тоже уходишь? – сказал он, выходя из ванной комнаты и поднимая полный печали взгляд на девушку.

Та в расстегнутой красной куртке стояла посреди прихожей. В руках она держала филипповское пальто.

– Я с вами.

– Куда? – Филиппов остановился и попытался припомнить свои планы.

Планы не припоминались.

– На Север.

– Зачем?

– Сияние смотреть... Строганину кушать... Вы обещали.

– Да? – Он грустно вздохнул и ощутил, как воздух вокруг него заблагоухал восемнадцатилетним, не до конца еще растворившимся в нем Balblair. – Только это пообещал?

– Нет, еще жениться.

– Понятно... А ты кто? Напомни, пожалуйста.

Девушка улыбнулась, и Филиппов понял, почему ночью их отношения приняли такой оборот.

– Я – Нина.

– Не ври.

– Правда.

Он провел по лицу влажной ладонью, как будто хотел что-то стереть.

– Фотомодель?

– Да. Я же вам вчера говорила. Уже полгода работаю.

– Молодец... Скажи, я тебе банковскую карточку не дарил?

– Нет.

– А что подарил?

– Телефон.

– Дай, пожалуйста, на минуту.

Она вынула из кармана куртки черный iPhone и протянула его Филиппову. Просмотрев сообщения, он поморщился, не найдя того, что искал, затем вытащил SIM-карту и вернул телефон девушке.

– Ты красивая, Нина.

– Спасибо... То есть не возьмете меня на Север?

– Нет. Я и сам не хочу туда ехать.

– И в спектакле своем роль не дадите?

– А ты актриса?

– Нет.

– Значит, не дам.

Она загрустила.

– Жалко... Я вам поверила.

Филиппов забрал у нее из рук свое пальто и опять вздохнул так глубоко, что в прихожей ошутимо проступили образы далекого, но прекрасного шотландского нагорья.

– Завидую, – сказал он.

* * *

На Север Филиппову надо было по двум причинам. Во-первых, он был скотина. А во-вторых, он был трус. Собственно, поэтому он и напился в совершенно незнакомой компании до такой степени, что какая-то Нина разбудила его в чужой прихожей. Как он туда попал, ему вспоминалось туманно.

Усевшись в такси, он закурил и тут же выбросил сигарету в окно. Следом за ней полетела вся пачка.

– Лучше бы мне отдали, – сказал таксист.

– В другой раз.

Филиппов опустил взгляд и увидел, зачем таксист просил у него сигареты. В глубоком пластиковом кармане на дверце тесными рядами стояли картонные пачки «Мальборо», «LM», «Золотой Явы» и еще какого-то барахла. Штук тридцать, не меньше.

– На зиму запасаясь?

– Они пустые.

Филиппов протянул руку и открыл одну из пачек.

– Тогда зачем?

– Как зачем? – снисходительно усмехнулся таксист. – Пассажир сядет, курить захочет – а пепел ему куда трясти? У меня же пепельница давно сломалась.

– Логично, – одобрил Филиппов и устроился поудобней.

Мир идиотов был близок ему не только по профессии. Еще до своего успеха, задолго до того, как он начал подмигивать своей роже, глазевшей на него с журнальных обложек из газетных киосков, Филиппову нравилось вести себя так, чтобы люди злились на него или даже лезли подраться. Сидя без копейки денег однажды зимой на даче у своих знакомых, которые пустили его туда под предлогом охраны дома, он подружился с тамошней крысой, назвал ее Петька, научил по особому свисту забираться в коробку из-под чужих ботинок «Salamander», а потом ходил с этой коробкой на встречи с кинопродюсерами и худруками самых известных московских театров. На вопрос, что у него в коробке, он всегда честно приподнимал крышку. Старым друзьям по театральному институту, которых становилось все меньше и меньше и которые совершенно не удивлялись его неудачам, Филиппов объяснял, что Петька дорог ему не просто как друг. Петька сумел объяснить ему, кто он такой на самом деле.

– Сам посуди, – говорил он одному из последних своих друзей, еще соглашавшихся платить за него в ресторане. – Я утром на этой даче встаю, шарю по всем шкафам и нахожу только пакет из-под чипсов. И в нем ни фига. Я думаю – долбаный ты пинк флоид, какие шутки. Жрать ведь охота. А у меня только хлеб. И то – два кусочка. Потому что крысы почти всё у меня спорили. Я этот хлеб – в бумажный пакет, и на веревку повесил, чтобы они до него не добрались. А веревка такая, знаешь, через всю комнату. Типа, белье сушить. Короче, я захожу, а этот орел по ней ползет, по веревке, прямо к пакету. Вверх ногами, как альпинист. Я думаю – ну, совсем оборзели. Беру свою битку, подхожу к нему, размахиваюсь, а ударить вдруг не могу.

– Почему?

– Да ты понимаешь... Он так настырно лез. Как танк. Смотрит на меня и все равно прет. Знает ведь, что я долбану, и не останавливается. И тут я думаю – блин, это же я. Он – как я, понимаешь?

– Нет.

– Ладно, забей. Возьми мне еще полтишок. А еды больше не надо.

Дружба Филиппова с Петькой продлилась недолго. Как-то раз он, будучи сильно пьяным, уронил коробку со своим другом в полупустом вагоне метро и, когда его начали бить два щеголеватых кавказца, трижды успел заявить, что животное не его. Так он отрёкся от своего Петра и заодно выяснил про себя, что он трус.

– Куда летим? – дружелюбно поинтересовался таксист, прерывая туманные воспоминания.

Филиппов открыл глаза, но головы не повернул.

– На кудыкину гору.

– А чего так грубо?

– Будешь разговаривать, я другую машину возьму.

* * *

В обморок в самолете он хлопнулся, в общем-то, по своему собственному желанию. Еще сидя в баре перед выходом на посадку, Филиппов представил, как было бы на самом деле чудесно, если бы его похмельная тушка сама добралась до пункта назначения, а он тем временем как-нибудь так бестелесно продолжал бы сидеть в этом баре и пялиться в стакан с виски.

Он слушал унылую песенку Тома Уэйтса и воображал себя ее героем, который из-под земли уговаривает свою возлюбленную прилечь на его могилку и приложиться щекой к тому месту, где раньше у него было сердце. Впрочем, самому Филиппову было еще тоскливей, чем персонажу Тома Уэйтса. У того не хватало лишь сердца. В качестве компенсации Том хрипло обещал небо, которое хоть и рухнет на землю, но зато вместе с ним свалятся птицы, и можно будет их всех переловить.

«Бесполезно, – думал Филиппов в унисон заунывному блюзу. – Все равно разбегутся. У них сильные ноги».

Холодными негнущимися руками он тоже пытался дотянуться из-под земли до аппетитной возлюбленной Тома Уэйтса, но та не обращала на него никакого внимания. Будучи, видимо, умудренной и разборчивой некрофилкой, из двух трупиков она предпочитала хриплого и романтического Тома.

Однако желание Филиппова о том, чтобы его похмельное тело путешествовало отдельно от него, было исполнено. После двух часов полета тело встало со своего места, прошло в туалет, свалилось там в обморок, бесхозно пролежало минут пятнадцать, пуская слюну из левого угла рта, потом зашевелилось, уцепилось руками за край умывальника, с трудом поднялось и включило воду.

* * *

Снаружи кто-то нетерпеливый мгновенно уловил эти вялые проявления жизни.

– Вы там долго еще? Здесь очередь, между прочим!

Вернувшись на свое место, Филиппов отхлебнул предусмотрительно купленной в Домодедове граппы и стал озираясь, как будто не понимал, где очутился. Он даже привстал, оглядывая салон.

– Слушай, а куда мы летим? – обратился он к своей соседке в розовом спортивном костюме.

Та была похожа на сорокалетнюю Бритни Спирс, которая закончила курсы бухгалтеров, здорово потолстела и никогда не была в шоу-бизнесе. Во всяком случае, кожа у нее на лице больше говорила о внезапном приходе весны, когда под лучами солнца ровный до этого снег становится пористым и блестящим, нежели о кропотливой заботе кудесников макияжа.

Короткая и кокетливая прическа «под челочку», как определил ее для себя Филиппов, состояла из обесцвеченных в гепатитную желтизну не самых густых на свете волос.

Польщенная его вниманием, суррогатная поп-принцесса вынула из уха наушник своего телефона и улыбнулась.

– Что, простите?

– Я спрашиваю – куда летим?

Лицо суррогата в розовом стало слегка беспомощным. Для нее это был не совсем тот вопрос, который она ожидала услышать после двух с лишним часов полета. Она вполне могла рассчитывать на что-нибудь вроде «Вам нравятся горные лыжи?», или на любую другую чушь, которой обычно пользуются мужчины, чтобы завязать разговор, но услышала она именно это.

– Куда мы летим?

Филиппов с очень серьезным видом смотрел ей в лицо, судя по всему, ожидая ответа. Розовый мозг сорока-с-чем-то-летней принцессы ощутил подвох и напрягся. Следы этого напряжения заметно проступили у нее на лбу в районе бровей. Она думала.

– В каком смысле – куда? На Север... В ваш родной город.

Теперь пришла очередь Филиппова напрягаться.

– В мой город? А ты знаешь, где я родился?

– Конечно. Вы же сами сказали.

Филиппов тоже нахмурил брови, хмыкнул, потер лоб, а потом с подозрением уставился на соседку.

– Когда?

– В аэропорту. Еще перед вылетом.

Она вынула наушник из второго уха и выключила музыку в своем телефоне.

– А мы разве знакомы? – недоверчиво спросил Филиппов.

– Ну да... Я – Зина. Вы что, не помните?

Она удивленно смотрела на него, пытаясь понять – шутит он или говорит серьезно.

– Нет, – покачал он головой. – Я вообще ничего не помню. У меня обморок был сейчас в туалете. И, кажется, я там ударился головой. Я даже не помню, кто я.

Принцесса Зина перестала дышать. В ее розовой, обесцвеченной перекисью водорода жизни, возможно, происходили драматические события, но случай Филиппова был явно круче всего.

– Как не помните? – наконец проговорила она. – Совсем?

– Абсолютно, – Филиппов пожал плечами. – Кто я?

* * *

К этому времени стюардессы со своей огромной облезлой тележкой добрались до их ряда кресел, и старушка, активно дремавшая у иллюминатора, начала подавать признаки жизни. Дремала она именно что активно и даже напояла, потому что в самом начале полета, когда самолет еще только выруливал на взлетную полосу, вынудила Филиппова пересест на ее место рядом с проходом. Своей тревожной старушечьей совестью она чувствовала, что ей надо отыгрывать заявленную в прологе роль, состоявшую в том, что она была сильно больна, и от этого даже стонала, и что единственным средством от ее наверняка неизлечимой болезни могло послужить только место рядом с окошком, куда она благополучно переползла через усевшуюся уже розовую Зинаиду, быстро разулась и тут же страдальчески закатила глаза, чтобы не видеть весь этот измучивший ее несправедливый и жестокий мир. Впрочем, всякий раз, когда стюардессы принимались что-нибудь разносить, она невероятным усилием воли восстаивала к жизни и надолго задерживала их с требованием показать ей все,

что они предлагали. Получив желаемое, она ловко шуршала оберткой, хрустела печеньем, потом ставила пустой стакан на откидной столик Зинаиды, поднимала свой, чтобы устроиться поудобней, и со смиренным стоном отходила в гостеприимное лоно страдания.

Теперь она, видимо, по-настоящему проголодалась, и Зинаиде пришлось выдержать небольшой штурм. Старушка нервничала, толкалась и переспрашивала, боясь что-нибудь упустить, долго решала – мясо или рыба, а бедная Зинаида, которой не терпелось загрузить Филиппова, как внезапно опустевшую флешку, без конца передавала взад и вперед нестерпимо горячие аэрофлотовские судочки с едой.

В перерывах между этими судорожными транзакциями, когда старушка на мгновение затихала в раздумьях о коварстве стюардесс и бренности всего сущего, взволнованная Зинаида успевала вводить Филиппова в курс дела.

– Вы известный режиссер... Модный... Вас все знают... Ну, неужели не помните?

– Да? – говорил он. – Театральный режиссер? Или в кино?

– И там, и там... Вы недавно за границей какой-то приз получили... В Италии, кажется.

– На Венецианском фестивале?

– Нет... По-моему, в Риме.

– Бабушка, – прерывала их диалог измотанная вторым подряд перелетом через всю страну стюардесса. – Ну, вы будете брать что-нибудь?

– Жаль, – продолжал Филиппов. – Я бы хотел в Венеции... А там, куда мы летим... меня тоже все знают?

– Конечно. Там, вообще, про вас легенды рассказывают. И каждый второй хвастается, что с вами знаком. Нет, слушайте, вы правда ничего не помните?

В этот момент старушка наконец пришла к нелегкому для себя решению и потребовала вернуть судок с мясом, от которого успела дважды отказаться минуту назад.

– Все забыл, – покачал головой Филиппов, передавая поднос в надежные старушечьи руки. – У меня есть семья?

– Нет. То есть раньше была, но сейчас вы в разводе. И это был уже второй брак. Первый, вообще, практически сразу не сложился. Слишком рано женились.

– А дети?

– Один сын. Он с вашей бывшей – ну, в смысле, со второй – в Европе где-то живет. Она его туда увезла к своему новому. У нас в городе много про это говорили.

– Да? И что говорили?

Зинаида смутилась и занялась оберткой на своем подносе.

– Ну... Говорили, что вы ее бьете... То есть били...

– Давай помогу, – Филиппов отнял у нее поднос и одним привычным движением сорвал с него прозрачную пленку. – Вот так.

– Нет, ну это всё сплетни, – продолжала она. – Вы не принимайте близко к сердцу.

– Да я и не принимаю. Мне вообще, если честно, плевать. Я никого не помню. Хочешь пирожное? Я не буду.

– Спасибо.

– *Bon appetit.*

Они приступили к трапезе и некоторое время молча жевали разваливающееся на волокна рагу с водянистыми овощами. Мальчик лет пяти, сидевший в кресле через проход, ковырялся у себя в носу, а затем облизывал палец.

– Что еще говорят? – спросил Филиппов, опуская тупую пластиковую вилку.

– Говорят, что вы гей.

– Стюардессу позовите, пожалуйста, – потребовала старушка у иллюминатора. – Она мне рыбу дала. Я же говорила им, что хочу мяса.

– Моё будешь? – предложил ей Филиппов. – Тебе откуда отрезать? У меня самая вкусная филейная часть.

Старушка секунду смотрела ему в глаза, потом начала ковыряться в своей рыбе. Филиппов перевел взгляд на Зинаиду.

– Думаешь, насчет голубизны – правда?

– Не знаю, – пожалала она плечами. – Мужчина вы, конечно, вполне себе... Но по нынешним временам, сами знаете, всё так сложно. Кто гей, кто нормальный среди мужиков с первого взгляда не разберешь. Иногда такие сюрпризы бывают, что обхохочешься. Я, когда про вас это услышала, не поверила. Но потом даже в газетах стали намекать. Желтые, конечно, газетенки, а сомнения все равно возникли. Дыма без огня не бывает.

– Резонно. Еще что говорят?

– Что вы алкоголик и наркоман. Одно время много об этом трепались, но теперь поутихло...

Они помолчали, а потом Зинаида внезапно нырнула под свой столик и выудила оттуда белый пластиковый пакет с красной эмблемой «Moscow Duty Free».

– Ну а это вы узнаете?

Она торжествующе смотрела на Филиппова, показывая ему белую чашку со следами кофе внутри и ожидая немедленного просветления, но он лишь покачал головой.

– Вы же сами мне ее дали.

– Я? Зачем?

– Вы ее для меня украли.

– Та-а-ак, – протянул Филиппов. – Еще и ворует...

– Нет, вы из хороших побуждений. Вы увидели, как я в баре прятала блюдце, подсели ко мне и предложили украсть его вместе с чашкой. Еще про кафе в Амстердаме и про кексы с марихуаной рассказывали... Ну что, совсем ничего не помните?

Она жалостливо смотрела ему в лицо.

– А ты зачем прятала блюдце?

– Вы уже спрашивали... Там, в аэропорту.

– Не помню. Расскажи еще раз.

Она вздохнула, почему-то смутившись и скроила глупую мину.

– Вы смеяться будете.

– Не буду. С чего ты взяла?

– Вы уже смеялись.

– Да? Ну, все равно расскажи. Мне интересно.

Она закатила глаза под лоб, как будто решалась на откровенность, но при этом стеснялась важных для нее чувств.

– Я это блюдце на память хотела забрать.

– На память? – Он усмехнулся. – О чем? О баре?

– Ну вот видите, вы так уже говорили.

– Да не помню я ничего. Маразм какой-то. Зачем тебе блюдце?

– На нем снизу написано «Аэропорт Домодедово».

– И ты решила стырить его на память об аэропорте?

– Да нет, о Москве. Я же вам сказала тогда, что уезжаю домой навсегда, и в Москву больше не разрешат вернуться.

– Кто не разрешит?

– Да есть там... Короче, не важно. Не разрешат.

– Ты вроде взрослая уже тетя.

Она засмеялась, издав при этом странный звук.

– Чего смеешься?

- Меня ровесники тетей не называют.
- Филиппов прислушался к ее смеху и снова уловил в нем дополнительный звук.
- Ну-ка, сделай так еще раз.
- Как?
- Ну вот так, как ты сейчас делала. Хрюкни.
- Я не хрюкала.
- Да ладно тебе.
- Не хрюкала, я вам говорю.
- Ага, не хрюкала. А это вот что?
- Он передразнил ее смех и отчетливо хрюкнул в конце, втягивая носом воздух.
- Поняла? Вот так ты смеешься.

* * *

Временами Филиппову действительно хотелось потерять память. Жизнь его отнюдь не была неказистой, однако вспоминать из нее он любил совсем немного. Список того, что он оставил бы себе после внезапной и давно желанной амнезии, состоял всего из нескольких пунктов. Первые места занимали песни Тома Уэйтса, их он хотел помнить всегда; затем шла сверкавшая на солнце, бешено вращающаяся бутылка водки, со смехом запущенная высоко в воздух рукой лучшего друга, который, в отличие от этой бутылки, несомненно подлежал амнезии; лицо двухлетнего сына, покрытое грубой, почти зеленой коркой от бесконечного диатеза, и его слеза, мгновенно исчезающая в глубоких сухих трещинах на щеках, как будто это не щеки, а склоны, и он не ребенок, а маленький печальный вулкан, и склоны его покрыты застывшей лавой. Напоследок Филиппов оставил бы себе воспоминание о беззаботной толстухе в необъятных черных брюках и дешевой цветастой куртке, которая выскочила однажды пухлым Вельзевулом прямо перед ним из метро, нацепила наушники, закивала и стала отрывисто скандировать: «Девочкой своею ты меня наза-ви, а потом абни-ми, а потом абма-ни». Свои требования она формулировала уверенным сильным голосом и, судя по всему, твердо знала, чего ждет от жизни. Вот, пожалуй, и все, о чем Филиппов хотел помнить. Все остальное можно было легко забыть.

Мечта навсегда избавиться от бесполезного и надоевшего балласта не раз приводила его в игривое настроение, и тогда он просто имитировал утрату памяти, но, даже отчаянно придуриваясь перед своими армейскими командирами, институтскими преподавателями или всесильными продюсерами с федеральных телеканалов, он всегда немного грустил оттого, что на самом деле всё помнит. В этих приколах никогда не было особой цели. Скорее, они служили отражением его тоски по несбыточному. Однако на этот раз Филиппов хотел вульгарно извлечь пользу из любимой, практически родной заморочки. И дело было вовсе не в Зинаиде, с которой он совершенно случайно познакомился в Домодедове, и даже не в том, что он по-настоящему грохнулся в обморок в самолете – нет, дело заключалось в том, *зачем* он летел в свой родной город.

Филиппову было стыдно. Все связанное с этим чувством ушло из его жизни так давно и так основательно, что теперь он совершенно не знал, как себя вести – как, вообще, себя ведут те, кому стыдно, – а потому волновался подобно девственнику накануне свидания с опытной женщиной. Впереди было что-то новое, что-то большое, о чем он мог только догадываться, и теперь он ждал этого нового с любопытством, неуверенностью и как будто даже хотел встречи с ним. Стыд бодрил его, будоражил, прогонял привычную депрессию и скуку. Филиппову было стыдно за те слова, которые он собирался произнести в лицо последним, наверное, оставшимся у него близким людям – тем, кому он еще не успел окончательно опротиветь. Ему никогда не было стыдно за свои выходки, но сейчас он испытывал стыд за

вот такого себя, у которого хватает наглости не только на безоговорочное предательство, но и на то, чтобы, совершив это предательство, явиться к обманутым с бессовестной просьбой о помощи.

Два дня назад в Париже он подписал бумаги на постановку спектакля, придуманного его земляком, партнером и другом. Тот был известным театральным художником и в свое время многое сделал для того, чтобы странный и никому не нужный режиссер из провинции добился успеха не только в Москве, но стал востребован и в Европе. Без его неожиданных, зачастую по-настоящему фантастических идей у Филиппова, скорее всего, ничего бы не вышло, и дальше служебного входа в московских театрах его бы так и не пустили. Буквально за пару лет их внезапный и свежий тандем покориł самые важные сценические площадки, привлекая к себе внимание неизменным аншлагом, скандальными рецензиями и не менее скандальным поведением режиссера. Однако на этот раз французы хотели одного Филиппова – художник у них был свой.

Разумеется, он мог не подписывать с ними контракта, но предложение было таким хорошим, Париж осенью – таким манящим, да еще агент намекнул, что после Парижа, скорее всего, откроется опция с одним из бродвейских театров, что Филиппову, который струсил все это потерять, в конце концов пришлось подписать бумаги. Он так и говорил себе: «Мне пришлось», как будто у него на самом деле не осталось выбора. На Север в свой родной город он теперь летел, чтобы, во-первых, самому объяснить другу, что у него *не осталось выбора*, а во-вторых, ему позарез нужны были эскизы спектакля, в которых его друг, насколько он знал, уже успел сформулировать все свои основные и наверняка решающие для успеха этой постановки идеи.

В общем, гораздо легче было бы прибегнуть к старому доброму беспамятству и разыграть партию с другом по давно проверенной схеме, прикинувшись опять, что он все забыл, и в процессе как-то симпровизировать, выкрутиться, чтобы в итоге получить эскизы, но тут, как на грех, подвернулась Зинаида, и Филиппов не удержался. В легкой атлетике, насколько он помнил, это называлось фальстарт. К тому же он пошло хотел узнать, что о нем говорят на родине. Покинув промерзший северный город более десяти лет назад, он еще ни разу туда не возвращался и потому не знал, как там к нему относятся. До нынешнего момента ему на это было просто плевать. В списке того, что подлежало забвению, это место числилось у Филиппова под номером один.

* * *

– Через десять минут наш самолет приступит к снижению. Просьба привести спинки кресел в вертикальное положение, поднять откидные столики и застегнуть ремни безопасности.

Филиппов открыл глаза и покосился на Зинаиду. Та смотрела в спину старушке, прилипшей к иллюминатору. Очевидно, бабушка хотела созерцать бескрайние поля облаков не только глазами, но еще плечами и даже кофтой.

– Расчетное время прибытия двенадцать часов, – продолжал голос в динамиках. – Местное время одиннадцать часов двадцать минут. Температура в городе минус сорок один градус.

– Сколько, сколько? – протянул кто-то сзади.

– Ни фига себе, – отозвался другой голос. – В октябре!

Филиппов не помнил наверняка, сколько должно быть градусов у него на родине в конце октября, но точно знал, что не минус сорок. Это была скорее декабрьская погода. Вообще, все эти холода припоминались довольно абстрактно – как детские обиды или приснившийся кому-то другому сон, и даже не сам сон, а то, как его пересказывают. Путаясь и

все еще переживая, пытаются передать то, что безотчетно взволновало почти до слез, но из этого ничего не выходит, и все, что рассказывается, совершенно не интересно, не страшно, безжизненно и нелепо. Слова не в силах передать того, что пришло к нам из-за границы слов, – того, что охватывает и поработает нас в полном безмолвии. Примерно так Филиппов помнил про холод.

За все эти прошедшие годы его тело утратило всякое воспоминание о морозе. Его поверхность больше не ощущала стужу физически, как это было раньше. Его кожа не помнила давления холода, забыла его вес, упругость, плотность, сопротивление. Изнеженная московскими, парижскими и женевскими зимами поверхность Филиппова с трудом припоминала, сколько усилий требовалось лишь на то, чтобы просто передвигаться по улице, разрезая собой густой, как застывший кисель, холод.

Глядя в спину Зинаиде, которая, упрямо на что-то надеясь, продолжала смотреть в спину старушке, Филиппов совершенно произвольно и, в общем-то, неожиданно провалился в далекое прошлое. Брезгливо перебирая ползшие из всех самолетных щелей образы и воспоминания, он даже слегка помотал головой, как будто хотел стряхнуть их с себя. До этого момента он был совершенно уверен в том, что они навсегда покинули его, осыпались и скукожились как мерзкая прошлогодняя листва, чавкающая под ногами в мартовском месиве. Но теперь одно только упоминание о настоящем холоде мгновенно пробудило всю эту скучную мразь, и она прилипла к Филиппову, предъявляя свои права, требуя нудной любви к прошлому и внимания.

Глядя в спину розовой Зинаиде, он вдруг увидел себя пятнадцатилетним, бредущим в школу в утренней темноте и в непроницаемом тумане, который на несколько месяцев колючей стекловатой обволакивает зимой город, едва столбик термометра опускается ниже сорока. Одеревеневшая на морозе спортивная сумка из дешевого дерматина постоянно сползает с плеча, норовит свалиться, но поправлять ее нелегко, потому что на пятнадцатилетнем Филиппове огромный армейский тулуп, пошитый или, скорее, построенный в расчете на здорового бойца, и щуплый Филиппов едва передвигается в этой конструкции, пиная от скуки ее твердые, как фанера, широченные полы. Родные руки в этом сооружении ощущаются как протезы. Или манипуляторы в глубоководном батискафе. Пользоваться ими непросто.

Тулуп раздобыт отцом, у которого блат на каком-то складе, поэтому отвергнуть армейского монстра нельзя. Отец гордится тем, что он, как все остальные, тоже мужик и добытчик, и, выпив после работы, бесконечно рассказывает, какой он ловкий, полезный и незаменимый чувак. Филиппов бредет по убогой улочке вдоль ряда двухэтажных бараков, точнее вдоль ряда громоздких теней, похожих на эти бараки, потому что в темноте и тумане можно только догадываться, мимо чего ты идешь. Сумка его наконец соскальзывает, но он уже не обращает внимания и продолжает волочить ее за собой по твердому, как бетонное покрытие, блеклому снегу, прислушиваясь к тому, как грохочут внутри тетрадки в окаменевших от холода клеенчатых обложках. Он бредет за сорок минут до начала уроков, потому что директор заставил учителей проводить в старших классах политинформацию, и теперь подошла очередь Филиппова сообщать своим хмурым, не выпавшимся одноклассникам о тезисах последнего Пленума ЦК КПСС, о возрастании руководящей и направляющей роли Коммунистической партии в жизни советского общества, о нераздельности авторитета партии и государства, о единстве разума и воли партии и народа, а также о выполнении интернационального долга советскими воинами в Афганистане. Почему он ведет такую нечеловеческую жизнь, Филиппов в свои пятнадцать лет не знает.

– Мы как скоты, – бормочет уже из другого, соседнего воспоминания Эльза.

Откуда она появилась в местном театре, Филиппов не помнит. Может быть, из Москвы, а может, из Ленинграда. Во всяком случае ведет себя так, что все остальные актеры авто-

матически ее ненавидят. Им неприятно быть провинциальным быдлом, требухой актерской профессии, бесами низшего разряда. Впрочем, они ненавидят даже сами себя. А по инерции – всё человечество. Причины этой ненависти в каждом случае разные, но результат всегда один. Ненависть – их самая большая любовь.

Закутанная в невообразимые шали, которых тут на Севере никто не носит, Эльза выныривает из тумана, каким-то чудом узнает в заиндевевшем коконе гибнущего от ненависти Филиппова, приближается к нему, и они замирают, словно два космонавта, неизвестно зачем покинувшие свои корабли.

– Мы как скоты, – бормочет Эльза, склоняя к нему голову, чтобы он услышал, и отдирая от лица тот участок платка, в который она дышит и который влажной белесой коркой застыл до самых ее печальных глаз.

Филиппову в этом воспоминании двадцать пять лет. Он уже вдовец и сам покупает себе одежду. Зимой он больше не похож на бродячий памятник. На нем двое штанов, толстый свитер,крытый черным сукном полушубок, ботинки из оленьих камусов, ондатровая шапка и огромные цигейковые рукавицы. Эти совершенно негнущиеся, титанические варежки раз и навсегда вставляются в карманы полушубка и торчат из них, напоминая странного Чебурашку, у которого уши – очевидно, от холода – сползли в район поясицы. Зимой так одето все мужское население города, и каждый абсолютно доволен тем, что он не хуже всех остальных.

Тулупы и полушубки начали сдавать свои незыблемые позиции после горбачевской перестройки, когда сюда зачастили миссионеры. Алмазный край манил их сильнее Царства Небесного, и все эти одухотворенные шведо-мормоно-евангелисты оттягивались на бывшем советском Севере как могли. Были под электрогитару в кинотеатре, плясали в мебельном магазине, рыдали с микрофоном в руках, раскачивались и зывали: «Твой выход, Иисус!» После их бодрых проповедей никто в городе как-то особо не замормонился, но вот гегемонии крытых сукном полушубков пришел конец. Миссионеры приезжали в ярких импортных пуховиках, и, очевидно, именно в этом состояла их настоящая миссия. Грубые местные недомормоны смеялись над ними, уверяли, что те, как клопы, перемерзнут в своих «куртёшках», но для молодого Филиппова эти фирменные сияющие ризы оказались подлинным и практически религиозным откровением. В двадцать пять лет он экстатически возмечтал о красной куртке на гагачьем пуху, и ничто в целом мире уже не в силах было остановить его на этом высоком пути. Так в его жизни наступил конец эпохи всеобщего черного сукна. Разрыв с родным городом стал неизбежен.

К тому же у него не было больше сил ходить на могилу своей юной жены.

* * *

– Пристегнитесь, пожалуйста.

Филиппов поднял голову и посмотрел на склонившуюся к нему стюардессу. Концы шейного платка выбились у нее из под блузки и торчали наружу, как упрямые симпатичные рожки.

– И вот это уберите, пожалуйста.

Она перевела взгляд на бутылку граппы у него в руке.

– А уши свои покажешь?

Филиппов смотрел на ее темные блестящие волосы, в обрамлении которых белела узкая полоска лица.

– Зачем?

– Мне важно, какие уши меня слушают – красивые или нет.

– Уберите бутылку.

– Я не могу. Для меня пьянство – последняя форма искренности. Других уже не осталось.

– На борту запрещено употребление алкогольных напитков, приобретенных в другом месте.

– А у тебя можно купить?

– Сейчас уже нет. Через двадцать минут посадка.

– Жаль. Хочешь глоток?

Стюардесса выпрямилась и пошла дальше, поводя головой из стороны в сторону, как будто следила за игрой в теннис. Или как будто решительно отказывала в том, о чем вслух никто из мужчин так и не набрался храбрости попросить.

– Стой! – крикнул ей вслед Филиппов. – У меня вопрос.

– Я вас слушаю, – усталым голосом сказала она, возвращаясь к его креслу.

– Ты бы поговорила с летчиком. Что-то мы медленно летим... И вообще, кажется, не туда. Я дорогу не узнаю. Ты сама посмотри в окошко.

Розовая Зинаида при этих словах прыснула, а стюардесса молча развернулась и продолжила свое неторопливое движение по салону. Школьные выходки сорокалетних балбесов наскучили ей давным-давно.

Филиппов отхлебнул из бутылки, сунул ее в карман впереди стоящего кресла, застегнул свой ремень и снова закрыл глаза, стараясь не упустить ни одного привычно обжигающего момента. Граппа согрела глотку, потом пищевод и наконец воссияла в желудке.

– Вот молодец какая, – пробормотал Филиппов, погружаясь в свое покрытое ледяным панцирем прошлое. – Красавица ты моя.

* * *

Отцовский тулуп сделал его в школе главным посмешищем. Одноклассницы и девочки из младших классов очень любили смеяться над ним. Когда он брел в этом меховом конусе после уроков домой, они выглядывали из форточек в своих двухэтажных бараках, не ленись при этом заскакивать на подоконник, торопясь, пока он не прошел, стукаясь торчавшими из-под домашних халатиков худыми коленками, и весело кричали ему: «Филя-Филя! Феликс из утиля!»

В своем тулупе он действительно был похож на беспокойный памятник Ф.Э. Дзержинскому, который в конце советской эпохи сбежал от горя со своего постамент и теперь неприкаянно бродит по замерзшему городу в поисках остальных, таких же потерянных бойцов революции.

Среди насмешниц из форточек была и та, что потом, буквально через три года, стала его женой.

– Ты чувствуешь? – говорил он ей, задыхаясь от усталости и от счастья после первых тайных попыток любви. – Чувствуешь? По другому пахнет. Раньше так не было.

Он нюхал свои подмышки, затем это делала она, и оба смеялись от незнакомого запаха, от Филиной нелепой новой доверчивости, и от того, что им надо прятаться, а в кухне сидит зачем-то поднявшаяся среди ночи ее одинокая мать.

– Дурак, ты свой тулуп в коридоре оставил.

Они давились от смеха, а свет из прихожей обличающе падал через матовое стекло на скомканное толстое одеяло.

Вдвоем вообще было весело. Собираясь на дискотеку в чужую школу, она могла теперь смело надевать толстые шерстяные рейтузы, потому что Филя преданно таскал их весь вечер в сумке, пока она подпрыгивала под свой «Оттаван» и вопила как резаная «Hands up, baby, hands up». В принципе, они, конечно, все там кричали, но остальные девочки, прежде

чем кричать и подпрыгивать, спешили в женский туалет и долго щипали себя за красные от мороза, онемевшие ляжки. В чужой школе некуда было пристроить уродливые нижние штаны, поэтому юные девы в брючках на тонких колготках мчались туда со всего города как озверевшие от допинга олимпийцы. Хорошо, если чужой завуч или физрук не заставлял долго ждать на крыльце. Когда на улице минус пятьдесят и темнеет в три часа дня; когда люди на остановках буквально бросаются под автобус, чтобы просто разглядеть номер маршрута; когда по улицам в темноте и тумане бредут меховые коконы, и каждый в этом безмолвии сам себе подводная лодка; когда шампанское, забытое на балконе под Новый год на лишние полчаса, в мелкие осколки разбивает толстенную бутылку – словом, когда на Севере наступает обычная зима, веселенький «Оттаван» в чужой школе может слишком дорого обойтись.

Однако веселье длилось недолго. Через год после свадьбы Нина погибла. Филиппов никого не простил, бросил учебу в институте, стал циником и устроился работать пожарным в местный драмтеатр. Страна в тот момент упивалась гласностью – все говорили про всё, тайн практически не осталось, поэтому Филиппову надо было заползти в самый глухой угол. Обиженный тихими бездарями и ласковыми дармоедами провинциальный театр подходил для этого как нельзя лучше.

Пожилая, очень грузная вахтерша, с которой Филиппову приходилось дежурить по ночам, однажды недвусмысленно выразила свое отношение к тамошней Мельпомене. Выпив около половины припасенной для своего дежурства бутылки водки, она отправилась в туалет, а поскольку ходить кругами не царское дело, она решила сцену не огибать. Впрочем, и этот маршрут она сократила. Вышедший на обход Филиппов обнаружил ее прямо на полутемной сцене. Вахтерша, как торжествующий бенефициант, сидела на корточках в самом центре поворотного круга и победно журчала в темноте. Филиппов не знал, как к этому отнестись. Он и сам уже презирал всю местную труппу, поэтому уставшую от искусства даму совершенно не осуждал, но через месяц ее нашли насмерть замерзшей на окраине города, и он серьезно задумался о мистике театра. Мистику холода он тогда еще не замечал.

Заинтригованный Филиппов поспешил в городскую библиотеку, и там для него нашлась книга Фридриха Ницше о рождении трагедии. Филиппов с жадностью тогда ее проглотил, размышляя об античном театре и своей собственной трагической участи, а в читальном зале познакомился с темноволосой, но при этом голубоглазой Ингой. Та писала диплом по старославянским местоимениям и была удивительно похожа на Изабель Аджани, в которой Филиппов души не чаял по черно-белому буклету «Артисты французского кино». Буклет за неимением средств был украден в книжном магазине. Изабель на тех фотографиях едва исполнилось восемнадцать.

На снимках из буклета юный вдовец Филиппов с болезненной тщательностью выискивал приметы другой, инопланетной для него жизни, и только эти незначительные детали – перчатка на столе, недокуренная сигарета в пепельнице рядом с белой чашкой, россыпь маргариток на платье слегка растерянной Изабель, собачка у нее на руках, – лишь они позволяли ему поверить в то, что этот мир существует, что он материален, и где-то прямо сейчас есть Париж, и там есть платановые аллеи, река, не промерзшая на три метра, и никто не толкается в злой длинной очереди, нащупывая в ледяной рукавице талоны на водку и ёжась от холода в огромных тулупах из овечьих шкур. В принципе, полеты советских космических кораблей, о которых бесконечно твердили во времена его детства и юности в программе «Время», были для него гораздо реальней, чем собачий поводок в руках у восемнадцатилетней Изабель Аджани. И в этом он улавливал какой-то подвох.

О французской кинозвезде и своем необычном с ней сходстве сама Инга ничего не знала, и по большому счету ей было плевать. Она бы ни за что на свете не согласилась оставаться в чьей-то тени. Своей нездешней красотой эта молодая волчица распорядилась еди-

нолично. На вопрос Филиппова, почему она отдалась ему после первой же встречи, Инга, не задумываясь, ответила: «Ты похож на француза». С чего она это взяла и каков был образ француза у нее в голове, оставалось загадкой, но это ее утверждение льстило Филиппову и к тому же связывало его с черно-белой Изабель Аджани не только капризной красотой Инги, но и внезапно обретенным «французским» статусом, который она так неожиданно и так щедро пожаловала ему.

После гибели Нины Филиппов некоторое время и сам не хотел жить. На похоронах он растолкал стоявших у могилы своих и ее одноклассников, прыгнул туда и потребовал, чтобы его тоже засыпали землей. Ему отказали, вытащили из неглубокой прохладной ямы, как могли привели в чувство, и уже через несколько месяцев он перестал об этом жалеть. Выяснилось, что он еще многого не знает про жизнь, и, не узнав этого, уходить было бы слишком рано. Ниспосланная ему трагической музой Инга не просто удивила – она поразила его своим отношением к любви, к сексу, к биологической природе человека. Филиппов был озадачен и сбит с толку. Он был захвачен врасплох. Очевидно, именно это его и спасло. Его как пушинку встряхнула разнузданная античная мощь, и он вновь пробудился к жизни.

Секс для Инги был не больше, чем спорт, поэтому партнеров она меняла, как спринтер – беговые дорожки на стадионе. Пару недель бегала по одной, потом переходила на другую. Отличие состояло лишь в том, что брошенные беговые дорожки не могли ей докучать своим нытьем и разбитыми сердцами, а мирно лежали на тех местах, где их прочертила чья-то рука. В этом смысле идеальным сексом для Инги, наверное, был бы классный перепихон с настоящей беговой дорожкой.

Так или иначе, отпущенные ему две недели Филиппов провел в усердных и сладостных трудах, отвлекших его от угрюмой ненависти к миру. По каким-то своим неведомым и от того еще более манящим причинам Инга называла эти труды «заезжать». Еще она называла их Школой Фигурного Секса.

«Заезжали» в самых разных местах. Ярчайшим переживанием для Филиппова остался «заезд» в библиотечном отделе для прослушивания грампластинок. Городская библиотека не без оснований гордилась огромной коллекцией классической музыки, и для нормальных людей там была отведена укромная комната со звукоизолированной и запирающейся изнутри дверью. Никто и представить себе не мог, насколько все это не просто подходило, а было как будто создано для одержимой Инги. «Заезд» начался под Бетховена, достиг кульминации с Вагнером и завершился менуэтом Боккерини. Ничего более мощного и в то же время изящного Филиппов до этого даже не представлял. Кажется, именно там, еще слегка задыхаясь, она сказала ему: «Он у тебя твердый как скала... Нет, как маяк».

При этом у нее зачем-то был муж и ребенок. Встречая Филиппова, этот молчаливый четырехлетний человек должен был непременно называть его папой, чего Филиппов совершенно не понимал, но Инга жила по своим законам – раз мама с кем-то на данный момент «заезжает», значит, наездник и есть папа. Француз и папа – никак иначе. Очевидно, она оберегала ребенка от нехороших мыслей о том, что мама может предаваться этому с чужим дядей.

Когда ей становилось неинтересно, она предлагала «заезжать» де-труа. Для этой цели ангажировалась ее самая уродливая подруга и в качестве дополнительного резерва филипповский друг. Поскольку подруга за человека и за отдельную единицу практически не считалась, именно друг в понимании Инги шел третьим номером. Он пытался требовать лучшей доли, но у синеглазой брюнетки насчет подруг были твердые правила. В итоге ее де-труа состояло в том, что несчастную пару размещали на соседней кровати, а потом прямо из-под сопящего Филиппова отпускали колкие шуточки насчет того, что у друга, видимо, совсем не скала и уж точно никакой не маяк. Максимум – скромная башенка с часами, на которых всегда одно и то же время.

– Полшестого, – смеялась под Филипповым Инга, однако смех ее совершенно его не сбивал, а лишь удивлял новизной отношения к жизни.

Ни Аристофана, ни Апулея он тогда еще не читал.

Впрочем, контраст совершенно невинной, боттичелиевской красоты и полной распушенности томил юного Филиппова очень недолго. Ровно через две недели после прочтения книги Ницше об античном театре он привел Ингу домой и совершил там непростительную ошибку. Все это время она ни разу не снимала перед ним свой бюстгальтер, ссылаясь на неподходящую обстановку или нехватку времени, как будто на то, чтобы снять лифчик, требовалось полчаса. Но в этот раз Филиппов проявил настырность, а в результате едва успел скрыть разочарование, глядя на две грустные покачивающиеся сосиски.

– Ты знаешь, – сказал он, будучи юным и честным эстетом. – Мне больше нравится твое лицо, чем твое тело.

Спустя несколько дней, печальный, как те сосиски, Филиппов лежал в постели с уродливой подругой, которая поглядывала на соседнюю кровать и жарко шептала ему:

– Женишься на мне, если я залечу?

К этому моменту боль от гибели Нины практически оставила его.

* * *

Перед самой землей самолет ощутимо качнуло, и розовая Зинаида вцепилась Филиппову в плечо. Это вернуло его в полутемный салон. Сбитый с толку быстро допитой граппой и неожиданно яркими воспоминаниями, он даже не успел съязвить по адресу дружно аплодировавших после приземления пассажиров. Обычно это раздражало его, однако теперь он молча встал со своего места и смиренно замер в проходе, ожидая, когда подадут трап.

Через минуту все остальные тоже стояли. Какая сила заставляет людей после приземления вскакивать на ноги, зная о том, что выпускать из самолета начнут далеко не сразу, оставалось для Филиппова большой тайной. Национальность и гражданство, как он давно уже отметил в своих постоянных перелетах, никакой роли при этом не играют. Потолкаться в проходе любят и американцы, и европейцы, и азиаты – практически все. Причем, натягивая свои пиджаки и куртки, они так активно машут локтями, что, летая достаточно часто, вполне можно овладеть начальными навыками восточных единоборств. Даже если не получится красиво уйти от очередного замаха, можно будет по крайней мере незаметно дать сдачи.

На этот раз пассажиры облачались в толстенные пуховики. Филиппов мог поклясться, что в Домодедове в очереди на регистрацию ни у кого из них не было с собой громоздкой зимней одежды, но стоило самолету замедлить бег по бетонке, и буквально у каждого в руках оказался пуховик, а кое-кто, сопя, уже натягивал оленьи, расшитые разноцветным бисером, унты. Крытых сукном полушубков, кстати, не обнаружилось, так что миссионеры в девяностых приезжали не зря. Филиппов успел порадоваться за земляков, вернее – «зём» или «земель», как они обычно сами себя называли, но тут начали просыпаться дети. С учетом количества теплых вещей, от которых они, разумеется, отвыкли «на материке» и которые теперь надо было довольно быстро на них напялить, в салоне поднялся легкий вой. Граппа у Филиппова вся закончилась, поэтому смикшировать какофонию было нечем. Впрочем, соседнему пацану вместо него врезала его собственная мамашка. Измотанная бессонной ночью, семичасовым перелетом, бесконечным нытьем своего спиногрыза, отсутствием мужа и резкой сменой часовых поясов, она уже особо не церемонилась.

– Поори у меня, – пояснила она сквозь зубы, рывком затягивая вязочки ондатровой шапки чуть ниже внезапно умолкшего, но все еще грозно приоткрытого рта.

Филиппов испытал к ней большое теплое чувство. Если бы она протиснулась через толпу по салону и быстро проделала то же самое с остальными мерзкими крикунами, он был бы безгранично ей благодарен, однако ей хватало и своего.

– Попробуй пикни, – грозно сказала она, поднося к испуганному лицу прямой и длинный, как танковый ствол, указательный палец.

Недоросток решил не искушать судьбу. Хлопая глазами, он терпеливо молчал, пока она пломбировала его кричальное отверстие огромным мохнатым шарфом. Затянув его у пацана на затылке, она для полной гарантии просунула под шарф белый платок. Видимо, хотела запечатать ему рот понадежней.

«Вот теперь кричи, – злорадно подумал Филиппов. – А лучше просто слюни туда пускай».

Он как будто забыл, для чего местные закрывают шарфом лицо. Тем временем эпидемия заматывания распространилась на весь салон. Шарфы, шали, платки крутились в воздухе и, казалось, посвистывали, подобно арканам североамериканских ковбоев. Ставшие вдруг родными человеческие лица исчезали под этим шерстяным арсеналом с такой скоростью, что Филиппов, несмотря на свою застарелую мизантропию, невольно почувствовал укол одиночества. Шерсть пожирала людей, оставляя в проходе одни бесформенные куклы. Сам Филиппов мог намотать на себя, пожалуй, только шнурки. В своем глупом пальтишке от Dirk Bikkembergs посреди этой шерстяной вакханалии он вдруг почувствовал себя сиротой. Шапки у него не было тоже. Сидевшая в одном с ним ряду старушка, которая теперь неизвестно каким образом оказалась на несколько метров ближе к выходу, оглянувшись, подмигнула ему и повертела меховой рукой у мехового виска. Видимо, она имела в виду, что с Dirk Bikkembergs Филиппов погорячился.

В следующее мгновение все это закутанное царство вздохнуло, чуть шевельнулось и, как праздничный, но молчаливый китайский дракон, медленно поползло к выходу. По дороге дракон отрывал на опустевшие кресла мятые газеты, пластиковые стаканчики, журналы, салфетки и прочую дребедень, которая для Филиппова в этот момент неожиданно стала трогательной и близкой, потому что все еще связывала его с Москвой, с жизнью, с другим миром – не с тем, что клубился непроницаемым туманом за серыми иллюминаторами и с неприязнью поджидал его на обледеневшем трапе. Усилиями того, что нормальным людям служит в качестве воли, Филиппов подавил жалобно запищавшее в нем желание остаться. Самолет должен был вернуться в Москву без него.

Измученно улыбавшиеся стюардессы жались к двери в кабину пилотов. Холод из распахнутого люка нагло хватал их за красивые колени в тонких колготках, но они упрямо кутались в отороченные мехом по капюшону парки, кивали уползающему дракону и улыбались, улыбались, улыбались. Пилоты, прятавшиеся где-то позади их улыбок, ждали, когда все закончится, поэтому старались даже не шуршать у себя в кабине. Филиппов представил, как они тихо стоят с другой стороны, приложив ладони к бронированной двери, чтобы девочкам было хоть немного теплей.

– Спасибо большое, – сказал он, пошло улыбаясь и подходя к стюардессам. – Все было замечательно.

– До свидания, – на автомате ответила та, которую Филиппов просил показать уши. – Благодарим за то, что воспользовались услугами нашей авиакомпании.

Произнеся это совершенно безлико, она в следующее мгновение узнала Филиппова и ожила, успела нахмуриться, однако вид его жиденького пальто с насмешкой вместо воротника и ничем не прикрытая лысая макушка вызвали у нее сначала удивление, а следом за ним жалость. Филиппов заметил это сочувствие, мелькнувшее на ее красивом лице, и разозлился.

– Меня встречают, – подмигнул он. – Поедешь со мной? Я тебе бриллиант подарю.

Дорогое пальто на Филиппове говорило о многом. Было понятно, что придурок, летевший из Москвы в таких шмотках, не станет давать дуба на автобусной остановке. Его наверняка ждет огромный, натопленный, как баня, автомобиль. Человеческие чувства в глазах стюардессы погасли, и голосом коренного жителя Матрицы она тепло попрощалась со следующим пассажиром.

Шагнув на трап, Филиппов буквально в доли секунды осознал, насколько он утратил контакт с реальностью за последние годы. Он, разумеется, понимал, что не попадет из самолета в привычную по европейским полетам выдвижную трубу, ведущую в здание аэровокзала, но все же рассчитывал хоть на какой-то транспорт. Раньше, насколько он помнил, пассажиров тут встречал длинный автобус, который потом долго петлял по бетонке, швыряя прилетевших по обшарпанному салону из стороны в сторону. Народ цеплялся за чемоданы и поручни, матерился, зубоскалил, но все-таки ехал. Теперь же, перепрыгнув жуткую полуметровую щель между бортом самолета и шатким трапом, Филиппов с тоской смотрел на растянувшуюся в ледяном тумане цепочку пассажиров, бредущих по летному полю к зданию аэропорта.

Спускаясь по тревожно звенящим от холода металлическим ступеням, Филиппов прикрывал рот ладонью, чтобы не хватануть полной грудью ледяной воздух. Он еще помнил, к чему это может привести в такую погоду. В лысину, в щеки и в лоб ему впились тысячи алмазных иголок, и он побрел следом за остальными. Сжавшись в маленького скрюченного червяка, он прислушивался к собственному дыханию, которое в этом абсолютном безмолвии теперь принадлежало как будто бы не ему, а сиплому, никем не понятому и бесконечно одинокому Дарту Вейдеру.

«Жесть, – отрывисто думал Филиппов. – Полная жесть».

Он шел, низко опустив голову, но все же разглядел на летном поле еще три больших самолета. Рядом с каждым толпились и подпрыгивали на месте изнывающие от холода и нетерпения пассажиры. На трап их пускали по одному. Предъявив закутанной фигуре у подножия лестницы свои посадочные талоны, они торопливо карабкались на борт, а Филиппов зачем-то всё оборачивался на них, поскользывался на обледеневшей бетонке и спотыкался, не в силах избавиться от ощущения, что видит это в последний раз, и что, когда они все улетят, дороги отсюда уже никому не будет.

Так он понял, какие примерно чувства должна испытывать доставленная в Чистилище перепуганная душа при виде тех баловней, перед кем Святой Петр уже распахнул сияющие врата.

– Скажите, а вас кто-нибудь встречает? – схватила Филиппова за локоть догнавшая его Зинаида.

* * *

За прошедшие десять лет привокзальная площадь нисколько не изменилась. Во всяком случае, из окна огромного и, судя по всему, только что купленного внедорожника, на котором Зинаиду приехал встречать ее муж, все выглядело совершенно по-старому. Над въездом с портовской трассы узнаваемо горбились трубы, закутанные в стекловату. Филиппов, разумеется, помнил, что весь город покрыт металлической паутиной теплотрасс, однако вид их все же его покорило. Если в парижском небе отсутствовали даже провода, то здесь вдоль каждой улицы, а кое-где и над головами прохожих тянулись километры толстенных труб. Стекловата на теплотрассах временами разматывалась и свисала безобразными клочьями, раскачиваясь в тумане от ветра. В юности это напоминало Филиппову готические романы, где в мрачных сырых подземельях со сводов непременно свисает и раскачивается в полутьме что-то мерзкое.

Рядом с крыльцом выдавшего грустные северные виды аэровокзала деловито окутывала себя клубами выхлопных газов местная автофауна. Капоты нагловатых и шустрых, как гопота, «уазиков» по зимней моде были затянуты старыми ватными одеялами. На боковых окошках красовались давно забытые Филипповым квадраты из пластилина. Впрочем, он не был уверен, что водители использовали пластилин. Вполне возможно, это была какая-нибудь замазка. Зимой эти квадраты, по неизвестной Филиппову научной причине, оставались единственным не заиндевевшим пятном на автомобильных окнах, и те, кто обитал внутри, горделиво поглядывали через них на заведомо несчастных при минус пятидесяти пешеходов.

По площади от здания аэровокзала к небольшому барачному строению в тумане сновали смутные силуэты встречающих и прилетевших. Барак этот, насколько помнил Филиппов, служил помещением для выдачи багажа. Почему сумки и чемоданы нельзя было выдавать в теплом аэровокзале – оставалось загадкой. Впрочем, суровый местный народ такими вопросами не задавался. Он просто сновал по холоду туда и сюда, перетаскивая упакованную для надежности в синюю пленку поклажу. Чем тяжелее был багаж, тем быстрее народ согревался.

Глядя на этих сильных и непрехотливых людей, на их «уазики», на их теплотрассу, на их жизнь, Филиппов почувствовал, что его может стошнить. Это была не только реакция на родной город. Граппа уже отпустила, и капризный организм требовал дополнительного топлива. В тщетной надежде Филиппов повертел головой, однако спиртного в чужой машине не оказалось. Тогда он приоткрыл дверцу, съежился от холода и склонился над ущербным асфальтом, покрытым масляными пятнами и проплешинами серого льда. Тело его содрогнулось, жалобно всхлипнуло, потом застонало, но не извергло из себя ровным счетом ничего. Туман мгновенно сгустился в демона пустоты.

– Обуюю, – снова глумился тот. – Наполни меня. Тошно.

Филиппов глубоко вздохнул, поднял голову и посмотрел в серое небо, как будто надеялся разглядеть ту кроличью дыру, через которую он свалился в эту Страну Чудес.

– Напрасно вы дверь открыли, – сказала фигура Зининого мужа, материализуясь прямо перед ним из тумана с огромным чемоданом в руке. – Выстудите мне машину, и будет у меня не «Лэнд Крузер», а «Студебекер».

– Смешно, – вежливо похвалил нисколько не смешную шутку Филиппов.

Впрочем, чтобы оправдаться в своих глазах, ему захотелось тут же добавить что-нибудь обидное, но сил на гадости уже не осталось. Он откинулся на спинку сиденья и захлопнул дверь. В следующее мгновение рядом со своим мужем из тумана вынырнула Зинаида. В руках у нее были горные лыжи. Она начала что-то быстро и сердито говорить, но муж ее не слушал. Обойдя автомобиль, он открыл заднюю дверь, поставил чемодан внутрь, сказал Зинаиде: «Давай не сейчас», захлопнул дверцу и начал пристраивать лыжи на крышу. Филиппов прислушивался к его возне, к своей тошноте и неприятному голосу Зинаиды. Она была чем-то расстроена. Что-то произошло, пока он сидел в их машине, любясь давно оставленной родиной.

– Как ее зовут? – раздраженно спросила Зинаида, усаживаясь на переднее сиденье и сильно хлопая дверцей.

– Слушай, – вздохнул ее муж, – я машину только что поменял. Ну зачем ты?

– Павлик, не надо мне про машину, – взвилась она. – Я и так не в себе. Ты мне еще не ответил, кстати, откуда деньги на нее взял. И хватит заговаривать зубы. Как ее зовут?

Павлик виновато обернулся на Филиппова и стянул с головы лохматую шапку. Под ней обнаружилась точно такая же лохматая шевелюра. В принципе, непонятно было, зачем ему при таком раскладе вообще нужна шапка. Волосы Павлика стояли практически дыбом, как у гениального Дока Брауна из фильма Земекиса в момент запуска машины времени. А может,

он просто испугался своей жены. В любом случае, почти облысевший к своим сорока двум годам Филиппов успел слегка ему позавидовать.

– Давай все-таки дома поговорим, – мягко сказал Павлик. – Ну зачем это? При посторонних...

– Да вы не стесняйтесь, – подал голос Филиппов. – Я такие вещи люблю. Только сначала заедем куда-нибудь. Мне выпить надо. А то может стошнить – половички вам испачкаю...

Павлик вынул из внутреннего кармана своего пуховика симпатичную фляжку с кожаными боками и протянул ее Филиппову.

– Рояль в кустах? – спросил тот.

– Нет, «Хеннесси».

– Тоже нормально.

Филиппов отвинтил крышечку, и на несколько секунд в машине установилась полная тишина. Зинаида, закрывшись на все свои внутренние замки, отрешенно смотрела в скучный туман за лобовым стеклом. Павлик тоже о чем-то задумался. Филиппов небольшими глотками, как старый и очень расчетливый вампир, высасывал коньячок. Аромат «Хеннесси» постепенно заполнил салон внедорожника.

– Насчет «Студебекера», кстати, – подал голос Павлик. – Я вам скажу, что это неправильное произношение. По-настоящему его надо называть «Студэбейкер». Улавливаете разницу? «Бейкер», как в слове «Бейкер-стрит». Улица в Лондоне, где жил Шерлок Холмс, знаменитый британский сыщик. А у нас произносят «Студебекер»... Исторически так сложилось. Но это неправильно. И, кстати, именно этот американский грузовик послужил в качестве шасси для многих наших «катюш» во время Великой Отечественной. Не все об этом знают. Вы когда-нибудь приглядывались к их кабинам? Сразу можно определить. У «Студэбейкера» такие характерные...

– А хочешь, любезный, я тебе стихи про твою жену прочитаю? – перебил его Филиппов, завинчивая крышку на коньяке. – Ты только далеко фляжку не убирай.

– Конечно, хочу. Вы сами их написали?

– Нет, стихи народные.

Зинаида вышла из ступора и развернулась на своем переднем сиденье. Лицо у нее было теперь совсем не похоже на тот простодушный счастливый блин, которым она тарасилась на Филиппова в самолете. Сейчас она была внутренне собрана и, похоже, готова задать кому-то жару. На то, что у нее в машине сидит гламурный московский селебрити, ей, судя по всему, было уже плевать.

Филиппов принял позу, подсказанную парой глотков коньяка, и, слегка подвывая, начал декламировать:

«Резиновую Зину
Купили в магазине.
Резиновую Зину
В корзине принесли.
Она была разиня,
Резиновая Зина.
Упала из корзины,
Испачкалась в грязи».

Он замолчал, а Павлик и Зинаида смотрели на него, явно не понимая, как им реагировать.

– Ну что? – спросил Филиппов. – Сильная вещь?

- Это что-то эротическое? – предположил Павлик.
- Почему?
- Похоже на рекламу секс-шопа.
- Нет, – покачал головой Филиппов. – Когда я это учил, секс-шопов у нас еще не было.

В театральном на занятиях по сценречи приходилось постоянно это читать. У меня со звуком «з» были проблемы. Небольшой дефект. Педагог специально для меня нашла стихотворение. Там еще что-то было, но я дальше не помню.

- К вам память вернулась? – спросила Филиппова Зинаида.
- Отчасти, – кивнул тот. – Может, поедем? Пока меня не тошнит.

* * *

Перед выездом из портовского поселка на ведущую в город трассу лохматый Павлик спросил у Филиппова, куда его отвезти. Разумеется, тому надо было ехать напрямик к своему другу, падать перед ним на колени, раскаиваться, обвинять во всем французских продюсеров и, главное, просить о помощи, но он струсил. Иллюзорная радость, которая в любом случае охватывает нас при известии о том, что стоматолог сегодня не принимает, подсказала мгновенную реплику:

– В гостиницу... Только давай в нормальную, а то, помнится, была тут пара «отелей»...

– Нет, нет, – натянуто засмеялся Павлик. – Эти деревяшки уже давно снесли. Тут вообще многое изменилось. Вы когда в последний раз приезжали?

– Никогда... Стоп, а ты куда поворачиваешь? Город не там.

Выскочив на портовскую трассу, автомобиль свернул не влево, а вправо – туда, где за большими ангарами был переезд на другой берег. Филиппов за всю свою жизнь ни разу этой переправой не пользовался, но знал, что летом там ходит паром, а зимой машины идут через реку по льду.

– Мне нужно заехать в одно место, – обернулся Павлик, и в глазах у него, как у собаки, блеснула просьба о понимании. – Из города потом будет совсем далеко.

– Так высади меня. Я такси возьму.

– Не получится, – как ребенку объяснил Филиппову Павлик. – Московские борты уже все прилетели – таксисты разъехались. В порту вы никого не найдете.

– Тогда на автобусе уеду.

Павлик даже рассмеялся этим словам. Неожиданный смех его настолько раздражил Зинаиду, что она демонстративно зажала уши руками.

– На автобусе? Вы и вправду здесь давно не были. Они же не отапливаются. По городу все еще ходят «ЛиАЗы» советского производства.

– Сарай?

Павлик с улыбкой обернулся.

– А-а, вы еще помните, как они тогда назывались.

Филиппов хмыкнул:

– Такие вещи не забываются.

– Боюсь, при вашей экипировке до центра вы доберетесь уже в глубокозамороженном виде – как палтус в магазине или треска.

– Зато есть гарантия, что не протухну.

Павлик с готовностью рассмеялся. Несмотря на угрюмое молчание жены, он явно был в полном восторге от неожиданной встречи со знаменитым даже в Москве земляком, который к тому же оказался таким простым и забавным парнем.

Филиппов смотрел на мелькавшие за окном в тумане хлипкие елочки, на безликие складские и служебные постройки, припавшие тут и там к промерзшей земле, на отчуж-

денную от обычных человеческих нужд и затей скучную территорию позади аэропорта и на серое небо, которое дышало таким безграничным и таким окончательным равнодушием, что даже у Филиппова, не без оснований считавшего себя чемпионом в этой дисциплине, холодело где-то между лопаток и перехватывало дух как в детстве, когда ребята постарше не брали на себя даже труд прогнать его из двора во время своих игр, считая его пустым местом. Он смотрел на все это и старался не слушать болтовню Павлика, вещавшего о температурных рекордах, о ценах на отопительные приборы и о чем-то бесконечном еще. О чем-то, что убаюкивало, примиряло с приездом, настраивало на дорожный лад. Все было хорошо – он ехал в тепле, а не бродил в поисках такси по выстуженной привокзальной площади, рядом маслянисто колыхался в чужой фляжке доступный теперь и вселяющий уверенность в будущее коньяк, трудная встреча и разговор были отложены как минимум на завтра. Все было хорошо.

«Нет, все же удачно прилетел, – говорил про себя Филиппов. – Зря напрягался. Завтра всё порешаем, и сразу домой. А потом – в Париж. Нафиг-нафиг эти родные пенаты...»

И тем не менее что-то было не так. Он боролся с чувством нарастающей, совершенно иррациональной тревоги, но оно, это чувство, плескалось уже где-то рядом, подмывало некрепкий берег его коньячного счастья, и Филиппов потихоньку начинал сомневаться – так ли уж надо было садиться в машину к незнакомым людям, которые предложили подбросить до города, а теперь везут неизвестно куда. Старый друг параноя тут же взялся напомнить, насколько суровые здесь места и какое количество трупов еженедельно поднимали на улицах города во времена филипповской молодости милицейские патрули.

– Семь-восемь, – пробормотал он, и Павлик тут же прервал свою болтовню.

– Что, простите? – повернул он свое ухо к Филиппову.

– Куда мы едем?

– Тут недалеко уже, не беспокойтесь. Доставим в целости и сохранности – лучше чем «Ди-эл-эйч».

Павлик радостно засмеялся тому, что принимал за собственное остроумие, а потом начал донимать Филиппова расспросами о всякой чепухе. Его интересовало, почему у того обожжена борода, каковы его творческие планы, что с погодой сейчас в Париже и сколько стоит входной билет в «Лидо». Чтобы подавить свои идиотские страхи, Филиппов тоже проявил интерес, разузнав, почем в городе хорошая рыба, можно ли заказать пошив унтов и зачем на теплотрассе при выезде из порта на трехметровой высоте сидят верхом мужики с паяльными лампами. Павлик отвечал, что такое сейчас наблюдается по всему городу, но причина ему неизвестна.

– Может, какая-то профилактика, – пожал он плечами.

– По всему городу? Когда уже грянул такой дубак?.. Ну да, самое время для профилактики. Ты на похоронах давно был?

– На чьих?

Павлик начал коситься на Зинаиду, которая хоть и успела просветить мужа на тему филипповского звездного статуса, однако не предупредила о странностях его поведения, а теперь, поглощенная чем-то чрезвычайно для нее важным, вообще не слушала их разговор и явно не собиралась оказывать мужу поддержку.

– Да без разницы чьих. Ты покойника в гробу видел?

– Ну... Видел, конечно... А при чем здесь покойник?

– Да при том, что о профилактике ты ему расскажи. Чтоб не сильно расстраивался.

– А-а... Вот вы о чем, – неуверенно кивнул Павлик, делая вид, что понял метафоры своего пассажира. – Это, конечно, да... Это вы правы... Только я немного о другом говорил...

– Все мы говорим о другом, любезный. Так что хватит уклоняться от темы. Давай сюда свой коньяк.

Когда подъехали к переправе, Филиппову снова было хорошо. Ему даже показалось, что невероятная толща серой ваты над головой слегка прохудилась, и сюда, к ним на дно, пробилось немного солнца. Однако светлее стало не из-за этого. На реке туман, очевидно, сдувало, и как только машина, подпрыгнув на гигантском ухабе, выскочила на лед, видимость во все стороны значительно увеличилась.

– Эй, подожди! Я думал – мы только до переправы. Ты на другую сторону, что ли, намылился?

– Да тут совсем близко, – заторопился Павлик. – Перескочим в два счета. А там прямо на берегу.

– Какие два счета? Где этот берег? Я его даже не вижу.

– Да сейчас вот остров объедем, и сразу увидите. Ну, или после второго острова. Там, возможно, туман опять будет.

– Какие острова?! Любезный, ты куда меня тащишь?

– Недолго совсем, я вас уверяю.

Филиппов припомнил, как подлетал к родному городу лет двадцать назад, возвращаясь из Владивостока, и крохотная тень огромного «Ил-62» целую вечность, как ему тогда показалось, плыла посреди сонма барж, пароходов и катеров. Если магистральный авиалайнер так долго пересекал эту реку, то сколько времени уйдет у глупого внедорожника? Да еще с учетом всяких торосов, объездов и островов.

– Давай обратно, – сказал Филиппов. – Ты задолбал. Мне в гостиницу надо, у меня встреча.

Насчет встречи он, конечно, соврал, но на Павлика даже это не произвело ни малейшего впечатления.

– Я не могу. – Он упрямо вцепился в свой руль. – Мне обязательно надо. Никто вас, в конце концов, силой в машину к нам не сажал.

Филиппов покосился на Зинаиду, но та, изображая нудного абонента мобильной сети, была временно и, видимо, очень сильно недоступна.

Отец Филиппова, служивший в начале шестидесятых на подводной лодке, любил выедать ему мозг рассказами об автономных походах и о том, как сходявшие от скуки с ума во время длительных переходов матросы крутили в кинопроекторе давно заученные наизусть фильмы задом наперед. Подводников это, очевидно, забавляло, но Филиппову, который переживал сейчас во многом подобные ощущения, было не до смеха. Его кинолента отматывалась назад, и он с тоской разглядывал вернувшиеся в его жизнь пейзажи, а память с готовностью и с издевательскою любовью стирала с них лед настоящего – вокруг уже плескалась вода и шумел летний ветер, звенели о своем тысячелетнем голоде комары, орали, как угорелые, чайки, и солнце вот-вот должно было показаться из-за края воды. Все здесь было практически как на море, поэтому солнце вставало не из-за леса, не из-за холма, а из-за кромки воды, которой здесь точно хватило бы на средних размеров европейское море. Эта река только прикидывалась рекой, она снисходительно терпела то, что ее так называли. На самом деле это было, конечно, море. Просто оно двигалось вбок, ощутимо и тяжело смещалось куда-то вправо, открывая для взгляда бесконечную во все стороны плоскость пространства, на которой пятнами прорисовывались острова, корабли и моторные лодки, но не было того, что делает в нормальном человеческом восприятии реку рекой – не было противоположного берега. Он отсутствовал, и рождалось такое чувство, что он и не нужен, и что река может спокойно жить с одним берегом, что ей этого достаточно, что два берега – это для обычных рек, для скромняг, в длину таких же, как в ширину эта, которая настолько величественна, настолько божественно широка, что даже одному берегу – много чести, и если бы еще чуть-чуть неземной спеси, то можно было бы вообще без берегов, просто ни одного, лишь вода и небо.

Филиппов поежился, переводя потерянный взгляд с линии горизонта на медленно уползавший из поля зрения засыпанный снегом остров. От накатанной колеи к нему тянулась утопавшая в глубоких сугробах тропинка. Зачем она тут была и кто ее протоптал – Филиппов не мог себе представить. Он на секунду задумался о том, какая жизнь могла тут происходить зимой в этих условиях, и ему стало жутко. Если такая безграничная мощь была не только остановлена, не просто обездвижена, но при этом закована в многометровый ледяной панцирь практически на полгода, и значит – на половину всей жизни, то причина этой безмолвной неподвижности должна быть абсолютно всесильной. Река безраздельно царила здесь над пространством, но холод безоговорочно царствовал над рекой.

– Вот он, другой берег. – Павлик радостно ткнул пальцем в лобовое стекло. – Вон там уже видно. Смотрите, смотрите. Я же говорил – быстро доедем. Зря беспокоились...

Филиппов склонился вперед и увидел темную полосу леса.

– До него ехать еще полчаса.

– Да какие там полчаса? – затараторил Павлик. – Сейчас дорога лучше пойдет. С этой стороны зимник сильнее укатан.

Заскочив резво на небольшой пригорок, после которого колея тянулась уже по коренному берегу Лены, машина снова нырнула в густой туман. Елки по обеим сторонам дороги выплывали из него, как мачты затонувших кораблей. Расплывчатые образы за окном сильно напоминали картинки из детского волшебного фонаря, какой был у Бергмана в самом начале фильма «Фанни и Александр». Павлик заметно прибодрился и снова начал свою канитель. Теперь он вещал о природе и свойствах местного тумана и как-то незаметно переполз на туманные явления вообще, в том числе и в культуре. Филиппов не уследил, когда он перескочил на театр.

– Ну, согласитесь! – горячился Павлик, требуя от Филиппова подтверждения тому, чего тот, зачарованный матовыми картинками за окном, даже не услышал.

– Что? С чем согласиться?

– Что Шекспир не мог написать все эти гениальные пьесы.

– Почему?

– Ну как почему? Это был недоучка актер, он даже писать грамотно не умел. Вы в курсе, что после него не осталось ни одного внятно подписанного документа. Он заверял их точкой! Вы представляете? Точку под ними ставил или каракули какие-то.

– Ну и что?

– Да как ну и что?! Нас всех ввели в заблуждение.

– Тебе пьесы его не нравятся?

– Да нет, пьесы нравятся. Но это же не он их написал!

Филиппов пожал плечами:

– А не все ли равно?

– Вы это серьезно? – Павлик даже задохнулся от возмущения и беспомощно завертел головой, как будто хотел взглянуть Филиппову в глаза и понять, зачем тот над ним так издевается.

– Ты сейчас как птенец в гнезде, – засмеялся Филиппов. – Знаешь, их на канале «Дискавери» постоянно показывают. Голые такие, противные. Мамка прилетает с червяками для них, и они тоже вот так башкой вертят. А ну-ка, разинь клюв.

Остаток дороги Павлик обиженно молчал. Выйдя из машины у каких-то высоких ворот, он даже не ответил Филиппову, надолго ли он уходит, и, разумеется, не оставил ему фляжку с коньяком. Когда складывались похожие ситуации, а складывались они в его жизни довольно часто, Филиппов невольно припоминал свой спектакль по чеховской «Чайке». Все роли в нем были исполнены инвалидами. Парализованную Аркадину возили в кресле-каталке, Нина Заречная была без рук, Тригорина он, вообще, мечтал найти без головы, но

это так и осталось мечтою, а Треплева играл семнадцатилетний мальчик с дискинетической формой ДЦП. Болезнь превратила юношу в мычащее и бормочущее существо, неспособное координировать свои движения, однако оставила ему такой красивый и такой ясный ум, что Филиппов, прерывая репетицию, мог сколько угодно ждать, пока из его мычания вылеплется невероятно яркий, парадоксальный и всегда свежий образ. Когда этот мальчик однажды сказал ему, что критерием для определения инвалидности является прежде всего социальная недостаточность, Филиппов немедленно возрадовался, во всеуслышание диагностировав у себя то, что он тут же назвал коммуникативной инвалидностью. Он заявил, что не принимает больше никаких обвинений в хамстве и жлобстве, поскольку он тоже инвалид, причем, разумеется, первой группы, а на инвалидов обижаться нельзя.

Наказанный теперь за то, в чем, по его убеждению, он был ни сном ни духом не виноват, Филиппов грустил об унесенной фляжке и ничуть не раскаивался в своем поведении. Ему на самом деле было плевать на проблему с авторством Шекспира, на споры о том, была ли Энн Хэтэуэй его женой, на то, что нынешняя Энн Хэтэуэй недавно пришла на модный голливудский прием без трусов, на либеральную оппозицию, которая хоть и сидела на московских бульварах полностью одетая, но зато гадила там, как заправский цыганский табор, – ему было глубоко безразлично все, что с таким жаром и с брызганьем слюны обсуждалось по телевидению и в Интернете. Более того, он искренне удивлялся небезразличию остальных. Для него на самом деле было загадкой, почему, скажем, женский лобок, вполне, наверное, симпатичный – это он допускал, мог произвести такую сенсацию. Ведь каждый из тех, кого взволновал конфуз молодой актрисы, даже если принять на веру, что конфуз этот не был намеренным, скорее всего, неоднократно имел дело или хотя бы видел эту замечательную деталь в своей личной, в реальной жизни. Где тут была новизна, Филиппов не понимал и готов был тысячу раз согласиться с Макбетом, кем бы он, кстати, ни был придуман, что «жизнь – есть повесть, рассказанная дураком, где много шума и страстей, но смысла нет».

Иногда ему даже казалось, что этот «рассказ дурака» пленял обывателя в значительно большей степени, чем обстоятельства его или ее собственной жизни. Практически все, кого знал Филиппов, любили поговорить о том, что их лично никоим образом не касалось. Они как будто возводили вокруг себя крепостную стену – Великую Китайскую стену неизбывной чепухи, баррикадировались во внутреннем дворе своих маленьких и, как им наверняка казалось, незначительных жизней. Оставляя это нелепое, но неизбежное самоуничтожение на их совести, Филиппов тем не менее жалел обывателей, хотя в одном интервью честно назвал их «контентом». Журналистка поспешила тогда поправить его, сказав, что он, видимо, имел в виду «контингент», но нетрезвый и упрямый Филиппов несколько раз повторил в ее диктофон «Контент, контент...», словно от многократного повторения в жизни всех этих мало-заметных и малоинтересных людей должно было прибавиться хоть сколько-нибудь смысла. Так что ему было совершенно неважно – писал Шекспир свои пьесы или не писал. А вот то, что он сам сейчас сидит в чужой машине посреди леса, вглядываясь в такой туман и в такой холод, – это было по какой-то причине важно. Филиппов еще не понимал этой причины, но уже смутно улавливал в тумане если не ее очертания, то во всяком случае ее масштаб.

Когда прямо перед машиной буквально из ничего материализовалась фигура Павлика, он вздрогнул. Отвыкнув от местных фокусов с визуальной дистанцией, он был еще не готов к тому, что объекты возникают из тумана не далее чем в трех-четырех метрах. Зимой ни один привычный способ ориентации в пространстве здесь не работал. Звуки тоже беспомощно тонули в этой серой вате. Определить, что тебя окружает – или что приближается к тебе, – гораздо проще было при помощи воображения, нежели пытаться хоть что-нибудь разглядеть.

– Пойдемте со мной, – выдохнул Павлик яростное облако пара, открывая заднюю дверь. – Я один там не справлюсь.

– Куда пойдем? Ты сдурел, что ли?

Филиппов зажал рукой ворот пальто, чтобы хоть как-то защититься от ударившей волны обжигающего холода.

– Вы же сами торопитесь... Пойдемте, я вам шапку свою дам.

Павлик стянул с головы лохматое сооружение, другой рукой натягивая на себя капюшон.

– Идемте скорей. Сами себя задерживаете.

Все те недобрые предчувствия, которые охватили Филиппова при выезде из аэропорта, немедленно вернулись к нему потревоженным гнездом змей. Лохматая шапка Павлика нисколько не помогла.

Выпрыгнув из машины, он торопливо застучал по твердому насту мгновенно одеревеневшими на морозе подошвами своих кеδικов, но догнать Павлика не сумел. Тот поджидал его рядом с большим домом, недостроенная веранда которого зияла подобно распахнутой брюшной полости несчастного пациента на операционном столе.

– За мной идите, – махнул ему рукой Павлик. – Сюда, сюда.

Он скрылся за углом дома, и Филиппов обреченно потопал следом. Руки, спрятанные от холода в жалких карманах, сдавило будто чугунными тисками, ноги разъезжались, а дыхание перехватило так жестко, что на ум приходил вовсе не воздух. У Филиппова возникло твердое ощущение, что он пытается дышать сверкающими алмазными иглами, которые впиваются в его теплые, нежные, беззащитные легкие. Затравленно повизгивая при этих странных попытках дыхания и несколько раз споткнувшись о какие-то вмерзшие в тропинку стройматериалы, он добрал до огромного металлического контейнера, почти доверху заполненного строительным мусором. Павлик решительно дергал контейнер за край, стараясь для чего-то сдвинуть его с места.

– Помогайте! – махнул он рукой, и Филиппов, не успев даже сообразить, чем это чревато, уцепился за металлический край своими скрюченными от мороза клешнями.

В следующую долю секунды его пронзил удар, о котором приговоренные к электрическому стулу не успевают никому рассказать. Подобно Будде под фикусовым деревом, он узрел истину и обрел наконец полное представление о сути человеческого страдания.

– Вы почему без перчаток?! – закричал ему в ухо Павлик. – На ту сторону давайте! Толкайте оттуда. Плечом толкайте!

Филиппов отклеился от контейнера и проковылял, куда было сказано. Упершись плечом в металлическую поверхность, он стал послушно толкать исполинскую мусорку, но кеды его смешно заскользили, и он сполз на твердый, как бетон, снег. Поскольку руки у него снова были в карманах, упал он весьма неудобно, гулко стукнувшись по пути головой. Лохматая шапка при этом ударе оказалась весьма кстати.

– Давайте! – кричал откуда-то из-за железного неба Павлик. – На счет «раз»... И раз! И раз!

Филиппов плечом ощущал, как вздрагивает от тщетных усилий Павлика контейнер, и едва удерживался от идиотского смеха. Валяясь на промерзшей земле рядом с металлическим исполином и совершенно не понимая при этом, для чего нужно его куда-то толкать, он представил эту картину со стороны и понял, что ничего смешнее в своей жизни ему еще не встречалось. Не вынимая рук из карманов, он попытался подняться на ноги, но снова упал, снова стукнулся и на этот раз начал смеяться уже в полный голос.

– Что с вами? – спросил Павлик, появляясь из-за контейнера и присаживаясь рядом с ним на корточки. – Почему вы лежите?

– Я... я... – давился от смеха Филиппов. – Я устал... Отдохнуть прилег...

– Нельзя лежать. Немедленно поднимайтесь.

– А не пошел бы ты в зад? Ты зачем, вообще, меня сюда притащил?

– Вставайте, я говорю! – Павлик изо всех сил потянул его за пальто, и Филиппов наконец поднялся на ноги.

– Мне надо в дом попасть, – продолжал Павлик. – Видите, балкончик на втором этаже? Нужно подвинуть под него контейнер, и я туда заберусь.

Филиппов задрал голову и посмотрел на недостроенный балкон без перил.

– А через двери ты не ходишь?

– Там заперто.

– Значит, в доме никого нет. Зря мы сюда тащились.

– Мне надо проверить. Они бы не уехали – я им деньги привез.

– Еще раз приедешь.

– Нужно удостовериться, что там никого. С меня спросят.

Филиппов повертел головой и заметил сваленные у забора большие ящики.

– Может, вон те подойдут? – мотнул он головой. – Поставим их один на один, и залезешь.

Через пару минут Павлик скрылся за балконной дверью, а Филиппов побрел вокруг дома к веранде. Поднявшись на ступеньки, он попинал ногой входную дверь, и та, щелкнув замком, открылась.

– Проходите, – впустил его Павлик. – Тут намного теплей. Я еще на втором этаже посмотрю. Не все комнаты там проверил.

– Думаешь, они от тебя прячутся?

– Нет, но, может, просто напились и спят. Строители, сами понимаете...

Когда они вернулись в машину, Филиппов потребовал у Павлика фляжку и не отнимал ее от саднивших губ до тех пор, пока на глаза не навернулись «бусинки счастья». Так он называл слезы, набегавшие от крепких напитков, когда спиртное поглощалось не рюмкой – в один глоток, а заливалось в организм хорошей равномерной струей, как топливо в бак автомобиля на заправке.

– Не понимаю, – бормотал Павлик, возившийся со своим телефоном. – В доме никого нет... Теперь еще никуда не могу дозвониться... Да что же такое? Данилов мне твердо сказал, что они будут ждать...

– Слушай, поехали, – оторвался наконец Филиппов от фляжки. – А то я пью, пью, ничем не закусываю. Вредно это. Корм нужен какой-нибудь, иначе – беда.

При выезде на лед расстроенный Павлик не справился с управлением, и машина едва не задела огромную глыбу спрессованного в бетон снега.

– Эй! – прикрикнул Филиппов, цепляясь за ручку над дверцей. – Давай-ка поосторожней, любезный... Убьешь ненароком.

Глядя на бескрайнее белое поле, он вновь ощутил себя в самолете, пробившем плотную пелену облаков и неподвижно зависшем над ними. Не страдая, как ему казалось, от клаустрофобии, он, тем не менее, временами испытывал в такие минуты тяжелое чувство, похожее на то, что пережил однажды на первых в своей жизни похоронах. Это случилось ровно за год до того, как погибла его Нина. Стоя тогда у гроба своего однокурсника, утонувшего в этой самой реке, Филиппов не нашел в себе сил заглянуть в окошечко, оставленное в крышке на уровне лица. Тело почти неделю было под водой, поэтому хоронили в запаянном металлическом ящике, в каких тогда привозили из Афганистана убитых парней. Однокурсника звали Славка, он сам только что вернулся из армии, благополучно и стойко выдержав такие невзгоды, о которых даже не хотел никому говорить, – погиб же, спасая подхваченных сильным течением детей. Огромный металлический гроб для него привезли из военкомата, где Славкин отец был самый главный начальник. Филиппов любил Славку за прямоту, за какую-то мощную и совершенно непобедимую наивность, за веру в хорошее,

а потому, даже несмотря на то, что уже в те времена был уверен в бессмысленности жизни, заглянуть в окошечко из толстого стекла так и не смог.

– Смотрите, там рядом с островом – машина, – показала куда-то вперед Зинаида.

Филиппов пригнулся и увидел вишневую «десятку» с тонированными стеклами. Автомобиль почему-то стоял не на укатанной колее, а чуть в стороне от зимника, словно водитель хотел проехать к острову, но завяз в непроходимом снегу.

– Интересно, зачем его туда понесло?... – сказал Филиппов.

– Может, случилось что-то? – предположила Зинаида.

– Водка у них случилась, – пробурчал Павлик. – Нажрут и гоняют на своих драндулетах... Вот здесь его вынесло.

Он показал на обочину дороги, где довольно высокий снежный бруствер был пробит вылетевшей с трассы «десяткой».

– Вы, кстати, в курсе, что у местного населения в организме отсутствует фермент, отвечающий за переработку алкоголя? – продолжал Павлик, в то время как Филиппов поворачивал голову, не отрывая взгляда от проплывавшей за окном сиротливой машины. – Они ведь поэтому так быстро спиваются. Казаки, пришедшие сюда в семнадцатом веке, быстро все это поняли, и началось повальное спаивание...

– Стой! – прервал его Филиппов, дернув за капюшон с такой силой, что на мгновение Павлик даже выпустил руль. – Тормози!

От застрявшей в снегу «десятки» в их сторону, высоко взбрасывая колени, бежал человек. В руке у него была монтировка. Размахивая железякой, он что-то кричал, но разобрать его слова было невозможно.

Павлик, успевший от неожиданности остановить машину, тут же включил скорость и прижал педаль газа.

– Стой, ты куда?! – вцепился ему в куртку Филиппов, но на этот раз Павлик ловко освободился, рывком нагнувшись вперед.

– Ты sdурел? Может, там помощь нужна?

– А если не помощь? Если они специально туда заехали, чтобы мы вышли на лед?... Я не могу останавливаться. У меня при себе крупная сумма денег, а в здешних местах такое бывает... Вам лучше не знать.

– Вестернов, что ли, насмотрелся?

– Тут часто ездят. Ему помогут.

Филиппов обернулся и долго смотрел на человека, который выбрался наконец на трассу, швырнул им вслед свою монтировку и что-то кричал, кричал и всё никак не мог остановиться.

* * *

Минут через двадцать они снова проехали мимо аэропорта и выскочили на городскую трассу. В качестве компенсации за долгий крюк и неприятные переживания Филиппов потребовал у Павлика фляжку, отчего настроение снова пошло вверх. Впрочем, после пятого или уже шестого захода на чужой «Хеннесси» он неожиданно скис. Откинувшись на спинку сиденья и умело сохраняя при этом вид одушевленного существа, он в полной прострации проехал мимо портовских пятиэтажек, мимо портовской школы и мимо портового ДК. Именно сюда незадолго до своей гибели любила мотаться из города его юная, как и он, едва вышедшая из школьного возраста жена. Учившийся тогда на третьем курсе пединститута Филиппов неоднократно пробовал набиться в сопровождающие, но допуска так и не получил. Нина ездила в этот ДК заниматься народными танцами одна. Красные башмачки, припиленные белые косы и сарафаны разлетались там не для него.

Для кого – Филиппов узнал не сразу.

Портовские в городе исторически считались намного круче всех остальных. Заветные *Montana* и *Wrangler* сидели на них как влитые, потому что куплены были не в общественных туалетах и подземных переходах во время судорожных наездов в Москву, а в настоящих фирменных магазинах в Прибалтике и в странах Варшавского Договора, куда командирами экипажей, вторыми пилотами, штурманами и бортинженерами летали их неземные отцы. Тото Кутуньо в начале восьмидесятых запел для этих неуловимо нездешних парней гораздо раньше, чем для городских. После школы они поступали не в местный ликбез, гордо названный зачем-то пединститутом, а улетали на больших красивых самолетах в Рижский институт инженеров гражданской авиации, откуда на Север из них возвращались единицы, да и те купались в лучах девичьего поклонения, роняя словечки вроде «палдиес», «Юрмала», «Дзинтари», «лабасов отмудохали» и далее по списку. На пресном фоне городских мальчиков они выглядели как Хамфри Богарт в «Касабланке» даже с учетом того, что ни одна городская девственница об этом фильме не слышала никогда в жизни.

Помимо очевидного аэрофлотовского эротизма, не в последнюю очередь опиравшегося на элегантную лётную форму – кожаные куртки регланом, золотые шевроны, нашивки, крылышки и прочие атрибуты этих современных и традиционно шаловливых амуров, – летуны занимали особое положение в городе еще и по причине строго географической. Без проблем выбраться отсюда на Большую землю можно было только по воздуху. Железная дорога из-за постоянно плывущей летом вечной мерзлоты оставалась научной фантастикой. Шоссейное сообщение крайне затруднялось отвратительными дорогами и общей удаленностью мест. В навигацию, разумеется, по воде приходили и уходили тяжелые баржи, доставлявшие в город жизненно важные грузы, но кому захочется как в девятнадцатом веке неделями кормить комаров на великой сибирской реке? Холодами из города можно было уйти на машине по «зимнику», в который уже осенью превращался любой водоем, однако эпические расстояния и колоссальные риски легко отбивали охоту к таким безумствам. Даже детям было известно, что если в тайге при минус пятидесяти заглох двигатель, надо сначала сжечь запаску, а потом – остальные колеса. Пока все это дело горит, кто-нибудь может проехать. Часа на полтора тепла хватит. Никто не проехал – значит, не повезло. Тем более что и колес у тебя уже нет. То есть летчиков тут любили. В городе реально многое зависело от них. Зарплатами они уступали, пожалуй, только «тепловикам». Те, кто работал на ТЭЦ, оставались вне конкуренции.

Учитывая все эти обстоятельства, приходилось признать, что у молодого, нервного, изъеденного, как сыр в крупную дырку, бесконечными сомнениями в себе Филиппова не было против бортинженера Венечки никаких шансов. Откуда тот вынырнул в его жизни – некоторое время оставалось загадкой, но вскоре доброжелатели нашептали, что танцеобильная Нина повстречала его в культовом, как тогда еще не говорили, пионерлагере «Сокол». Это напряженно живущее коротким северным летом начально-эротическое учебное заведение принимало желавших расстаться со своей невинностью девушек и юношей из портовских семей. Пубертаты попроще уныло топтались вокруг пионерского костра в разных «Связистах», «Маяках» и «Геологах», а гордые отпрыски соколов из «Аэрофлота» устраивали у себя в лагере такой кипеж, что педсоветы в городских школах по осени считали не только цыплят. Более того, на полдник в «Соколе» давали огромные кисти винограда. Основным фруктом на Севере тогда являлась картошка, но для своих озабоченных детей летуны могли запросто пригнать борт с витаминами из Ферганы.

Нина в «Сокол» попала без всякого блата. Не имея среди родственников ни одного даже самого завалящего авиатора, она предложила директору лагеря создать яркий и самобытный, как тогда говорили, танцевальный коллектив, и директор повёлся. Так что тем летом Нина отождгла по полной. До выпускных экзаменов у нее оставался всего один год, и к этому

невыносимо скучному периоду жизни требовалось как следует подготовиться. Потом, она знала, времени на такую мелочь, как секс, уже не будет. Учеба для школьника главный труд.

А сокол Венечка кружил над малолетками каждое лето. Вернее, не кружил, а шакалил, как позже говорили некоторые знакомые Филиппова о своих визитах на фуршеты в посольства европейских стран. Главная задача во время этих фуршетов – ухватить побольше. И даже не столько съесть, сколько надкусить, попробовать, сунуть во всё свой палец. Вот так и Венечка вместо летнего отпуска, когда остальные летуны целыми семьями поднимались на крыло и отваливали куда-то на юг, нарезал круги вокруг расслабленных дурочек, легко получая от них все, что хотел. Де-юре он числился в лагере физруком, де-факто трудился ночным котом за сметанку. Выдавая при свете дня ненужным и неинтересным пацанам ободранные ракетки для настольного тенниса, ночами он мяукал под окнами корпуса пионервожатых и мурлыкал о чем-то вечном в своей уютной физкультурной каморке.

Мужчины в этом смысле вообще делятся на два типа. Одни проходят по собачьему ведомству, другие уверенно демонстрируют навыки котов. Поведение половозрелых и заинтересованных жизнью кошек разительно отличается от правил гона в мире собак. В то время как псы объединяются в группу, чтобы вежливо следовать за дамой своего сердца и терпеливо ожидать знаков симпатии с ее стороны, котам совершенно плевать на чувства своей возлюбленной. Они сбиваются в стаю, загоняют очень встревоженную девушку на дерево или куда-нибудь в глухой угол, а после этого шустрят изо всех сил. Бортинженер Венечка, несомненно, принадлежал к породе кошачьих.

Филиппов – точнее, тогда еще просто Филя – узнал о давних приключениях своей юной жены слишком поздно. Нина, разумеется, не планировала продолжение тех летних «заездов», однако, закончив школу и выйдя замуж, неожиданно почувствовала себя взрослой, и то, что раньше в своем поведении она неосознанно оправдывала недостатком опыта, девичьим томлением и общей торопливостью жить, нашло теперь оправдание в ее глазах как неперенный атрибут жизни замужней дамы. Во всяком случае, так об этом рассказывалось во французских фильмах, которые постоянно смотрел временами реально занудный из-за своего эстетства и высокомерия Филя. Женщины у французов бесконечно изменяли своим мужьям, нисколько от этого не переживали, а в конце могли запросто кокнуть из пистолета надоевшего любовника, ну или мужа – как получится. Такие повороты Нину интриговали, но даже под влиянием всех этих фильмов она не стала бы искать Веню сама. Тот свалился на нее как снег на голову за кулисами городского Дворца пионеров, где Нина по старой памяти еще выступала с детьми на новогодних елках. Он сжал ее влажную руку и как-то сразу предложил поставить совместный танец в портовском ДК. Хореография, как выяснилось, интересовала его ничуть не меньше, чем физкультура.

И понеслось.

Очень скоро Филю стали донимать странные телефонные звонки. Если трубку поднимал он, с ним не говорили. На том конце провода либо кто-то молчал в ожидании, когда ему надоест повторять свое нелепое и беспомощное «алло», либо сразу начинал капать на нервы уклончивый сигнал отбоя. Спустя минуту-другую Нина обязательно звонила подруге, матери или еще кому-нибудь и договаривалась о встрече, но у Фили не возникало ни малейших подозрений. Он был настолько занят собой, своим будущим и своим непременно великим предназначением, что эти звонки воспринимал как почему-то участившуюся, но от этого не менее глупую случайность. Как-то раз неизвестный мужской голос назначил ему встречу, многозначительно обещая рассказать нечто важное, однако Филя и этому не придал большого значения. Вернее, придал, но совершенно в другом смысле. Все, что с ним происходило в те ранние и довольно неловкие годы, по его глубокому убеждению, касалось только его будущего величия, и если кто-то таинственный хотел поговорить с ним, то даже сама эта таинственность была напрямую связана с его, Филиной, избранностью и больше ни с

чем иным. Голос предупредил, чтобы на встречу он явился один, и что условным знаком для опознания будет служить журнал «Rolling Stone» на английском языке.

Очарованный такими приготовлениями Филя трепетной ланью помчался на свидание, но, проторчав у кинотеатра «Север» почти полтора часа, лишь обморозил щеки и нос. Ни журнала с манящим названием, ни обладателя телефонного голоса он так и не увидел. Белые пятна у него на лице уже на следующий день превратились в багровые синяки, нос безобразно распух, а милая Нина долго смеялась, глядя из-за его плеча в зеркало, пока он пытался побриться.

Правду о ее выкрутасах он узнал от ее же лучшей подруги. Добрая девушка сдала ему не только адреса, пароли и явки, но с радостью посвятила во все, что произошло в свое время в пионерлагере «Сокол». Уязвленный Филиппов жаждал подробностей и, разумеется, не замедлил их получить. Готовясь к разборкам с Венечкой, он целую неделю прижигал себя картинками чужой любви. Раздувая ноздри, принюхивался к запаху своего паленого мяса, выдумывал картинки еще ужасней, мечтал умереть, мечтал убить и маялся оттого, что не понимал своего положения.

Измена жены при всей ее очевидности казалась ему ненастоящей. Он сам казался себе ненастоящим и мучился, как персонаж, позабытый своим нерадивым автором. До этого момента текст его жизни был прописан более-менее внятно, и он двигался по своей роли, отыгрывая ожидаемые от него мизансцены, эмоции, выходы к публике, поклоны, уходы. Но теперь, после того что с ним сделала его милая Нина, пьеса вдруг оборвалась, и он замер на авансцене в ослепительном свете рамп. Что от него требовалось дальше, Филя не понимал. Любое движение, он это чувствовал, будет ненастоящим.

Впрочем, кое-что уже начинало брезжить перед ним. Оборванные нити, за которые так долго его водил по сцене неведомый кукловод, еще беспомощно свисали с его развинченных рук и ног, а он, лихорадочно слушая Тома Уэйтса, хватаясь как за поручень в трясучем автобусе за его песни, уже начинал понемногу грезить о чем-то странном – о необычном, своем и свежем. Спустя много лет, когда он отчего-то вдруг вспоминал про эту тягостную маету, на ум ему тотчас приходила песенка Тома «Make It Rain», в которой тот надрывно сетовал на вероломную подругу, сообщал о том, что утратил всякую гордость и требовал от кого-то немедленного очищающего дождя. По задумке хрипатого рогоносца Тома ливень должен был потушить пожар нечеловеческой боли в его истерзанной рогоносным статусом хрипатой груди. Том Уэйтс настаивал на том, что он теперь не Авель, а Каин, требуя, чтобы небеса разверзлись, и оттуда немедленно шарахнул дождь. Вот так и Филя тогда мечтал о ливне, который смыл бы куда-нибудь в грязную канализацию его неверную милую Нину и память о ней, а главное – его собственный непонятный стыд за то, в чем он был совершенно не виноват.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.